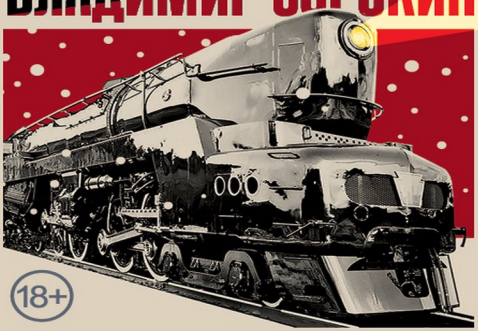
ВЛАДИМИР СОРОКИН

ВЛАДИМИР СОРОКИН



18+

НАСЛЕДИЕ

РОМАН СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Наследие
Владимир Георгиевич Сорокин

Аннотация
Владимир Сорокин. Наследие
Часть I. Транссибирский экспресс № 4
Часть II. Партизанский отряд “УЁ”
Часть III. Milklit

Аннотация

Будущее наступило и прошло, ядерная война почти забыта, выжили не все, а тот, кто выжил, уже никогда не будет прежним. Мирный договор не привел к миру: насилие стало нормой и потребностью, терпимость к нему заразней, чем боливийский вирус.

В заключительной части трилогии о докторе Гарине Владимир Сорокин рисует следующую, еще более далекую от нас стадию постапокалиптического распада. Но ее реальность парадоксальным образом кажется куда более узнаваемой. Правда, главного героя мы узнаем не сразу, зато он по-прежнему, как и положено врачу, остается примером достоинства и человечности.

Поезд, неизменный образ, соединяющий русскую, советскую и постсоветскую литературы, идет с востока на запад. Его топливо – люди, не в метафорическом, а в буквальном смысле, и им некуда больше бежать. Но чудесный доктор и его необычные наследники дают надежду на то, что у обезумевшего мира есть не только конец, но и более счастливое

продолжение.

Владимир Сорокин
Наследие

Стукнул в печке молоток, рухнул об пол потолок: надо мной открылся ход в бесконечный небосвод.

Даниил Хармс



© В. Сорокин, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство АСТ”, 2024
Издательство CORPUS ®

Часть I
Транссибирский экспресс № 4

Ты что, гнида, нам мороженых навалил? — прорычал густоусый коренастый машинист, отбрасывая заиндевевший брезент с контейнера, полного посиневших обрубков человеческих тел.

— То ж ведь, других на складе не было. — Бородатый мужик в форме вспомогательных войск ДР[1]развёл руками.

— Ладно, я тебе покажу “не было”… — Машинист достал тревожную *елду*, сжал.

Сигнал тревоги разнёсся в промозглом, влажном воздухе вокзала. Толпа провожающих, три оркестра, оцепление слегка приумолкли. Но тут же снова загалдели.

Из окна второго этажа третьего вагона высунулся начальник поезда, капитан железнодорожных войск УР[2] Пак с лицом совершенно лишённым восточных черт.

---

[1] Примечания: 1
Дальневосточная Республика.

[2] Примечания: 2
Уральская Республика.

— Господин капитан, нам поднесли говна на лопате! — крикнул машинист своим глухим, но сильным и злобным голосом.

— Мороженые? — сощурился Пак.

— Так точно! Так нас господин Хэ Бао уважает! На мерзляке не поедем, а поползём!

Пак молчал пару секунд, исчез. И тут же с вагона на заваленный мокрым, истоптанным снегом перрон спустился здоровенный краснорожий подпоручик Кривошеин в обшитой серым каракулем синей куртке и такой же серой кубанке с чёрно-голубой полосой. Сжимая в руках неразлучную плетку, он подошёл к паровозу.

— Полюбуйтесь, товарищ подпоручик. — Машинист кивнул на контейнер.

Тот глянул на кучу мороженых обрубков. Вечно расслабленно-сосредоточенное, мясистое лицо его не изменилось.

— Он? — спросил подпоручик, не глядя на мужика.

— Он! — кивнул машинист и сплюнул на обрубки.

Мужик втянул голову в ватные плечи.

Плётка свистнула, но мужик успел закрыть рукавицами лицо. Подпоручик занёс руку дая нового удара, но сквозь рукавицы выдавилось:

— Виноват! Не секите!

Рука с плёткой зависла в пасмурном воздухе.

— Чтоб контейнер парных. Живо! — произнёс подпоручик высоким, почти женским голосом.

— Так де ж мы парных найдём? — взмолился мужик, держа засаленные рукавицы у своей заросшей бородой физиономии. — Тюрма пуста, лагерь пуст!

— Где хошь.

— Так тюрма ж пуста, говорю! А лагерёк весь повыгребли.

Подпоручик задумался на мгновенье. Сунул в детские розовые губы свисток, свистнул, раздувая розовые щёки. Вскоре из окна второго этажа второго вагона высунулся старшина Миллер в форме ЖДВ УР.

— Старшина, обеспечьте свежее топливо для паровоза! — громко, на весь перрон прокричал подпоручик.

— Слушаюсь!

Старшина скрылся, и вскоре из вагона высыпал наряд с автоматами. Подбежав к прапорщику, семеро солдат в серо-жёлтых шинелях выстроились шеренгой. Подошёл старшина — приземистый, средних лет, в такой же шинели, с мятым лицом и светлыми обвислыми усами.

— Кузьмич, возьми у этих гадов сетки, шокеры, пилу. И обеспечь! — приказал подпоручик.

— Слушаюсь! — Старшина быстро коснулся двумя пальцами виска. — Наряд, кру-гом!

— Веди, вредитель! — Подпоручик пнул мужика хорошо начищенным сапогом.

Мужик косолапо побежал к пакгаузам.

— Наряд, за-мной! — враскачку, по-матросски двинулся старшина.

Солдаты зашагали за ним.

— Фартуки хоть есть у тебя, муддо? — крикнул старшина в спину бегущему.

— Сыщутся, а как… — откликнулся тот.

Через час электропогрузчик подвёз к паровозу другой контейнер, полный порезанных на крупные куски человеческих тел.

— Другое дело! — усмехнулся машинист.

— Свежатина, — сумрачно подтвердил старшина.

От кусков человечины шёл пар. С утра не прекращающийся, крупный и влажный дальневосточный снег падал на них.

— Как там? — высунулся Пак.

— Парныя, господин капитан! — крикнул машинист.

— Грузитесь быстрее! Из-за вас стоим!

Пак недовольно захлопнул окно.

Контейнер принялись грузить.

— Из-за вас… Не из-за нас. Навалили синевы, понимаешь… — проворчал машинист, достал папиросу, сунул в усы.

— Им, чертям, токмо воли дай. — Старшина достал свои сигареты, щёлкнул зажигалкой.

— Крысы тыловые, — прикурил у него машинист.

Несмотря на снегопад, солнце кратко глянуло в прореху клочковатых низких туч и сверкнуло искрой в двух каплях человеческой крови на рукаве старшины.

— Нефти достаточно? — вяло спросил он.

— Этого добра во Владике хоть жопой соси, — пробормотал машинист, выпуская дым сквозь усы. — Нефтью хайшеньвэйские[3] залились надолго. А вот с ломтями тут — третий месяц дефицит.

— Мир. Чего ж не ясно…

— Это точно. Мир.

Едва контейнер загрузили, машинист поднялся в паровозную будку, потянул жалейку. Паровоз дал протяжный гудок.

---

[3] Примечания: 3

Хайшеньвэй — Залив трепанга, китайское название Владивостока.

Слегка подуставшая, не очень густая толпа провожающих зашумела, задвигалась, не нарушая оцепления. Появились женские платочки. Ими замахали. За окнами тринадцати вагонов повставали с мест, замахали руками. И сразу же грянули три оркестра: военный ДР, военный РБ[4] и китайский вокзальный.

— Так и не договорились, мудаки… — пробормотал стоящий на подножке Пак и приложил руку в чёрной перчатке к серой кубанке.

И правда: командиры оркестров так и не смогли договориться, кому играть первым. Машинист продул цилиндры, повернул *мальчика,* и паровоз двинулся с места.

Но вдруг, под какофонию трёх прощальных маршей, раздался тревожный сигнал — вызов в балаболе, висящем слева на куртке у Пака.

— Начальник ТСЭ-4 капитан Пак! — проговорил он.

— Товарищ капитан, полковник госбезопасности Хэй Тао, — заговорил балабол по-русски с китайским акцентом. — Приказываю срочно прицепить к поезду спецвагон.

— Есть прицепить спецвагон! — ответил Пак

---

[4] Примечания: 4
Республика Байкал.

на отличном китайском.

— В Ачинске его у вас примут. Ясно? — продолжил по-китайски Хэй Тао.

— Так точно, товарищ полковник, — ответил Пак.

Пак переключил балабол на будку паровоза:

— Стоп-машина!

Машинист остановил поезд.

— Подцепить спецвагон!

В будке машинист резко повернулся к старшему помощнику:

— Цепляют нам iron maiden, понял, а?

— Четырнадцатым?

— А то как! Суки! Там ещё тонн восемь!

— Вспотеем, Михалыч! — усмехнулся один из кочегаров.

— Придётся в Бикине заправляться, — осторожно пробормотал младший помощник.

— Трепанги ёбаные! — Машинист злобно сплюнул на жирный от нефти пол. — Каждый раз навесят в последний момент.

— Суки, ясное дело, — согласился старпом.

— Может, там парных ломтей подкинут? — пожал плечом младпом.

Дознавательный спецвагон, в народе имену-

емый iron maiden, а по-китайски — Ши-Хо[5], быстро подогнали и подцепили к тринадцатому, последнему вагону транссибирского экспресса № 4. Этот вагон был серый, без окон, с большим красным стандартным номером 21, с тремя дверями, одна из которых — низкая, квадратная — была сзади, в торце вагона и предназначалась для выбрасывания трупов по ходу поезда.

Машинист снова повернул *мальчика.* Паровоз пошёл. Два оркестра уже отыграли свои марши, трубачи вытряхивали слюну из мундштуков, и лишь упорный забайкальский, руководимый молодым и честолюбивым прапорщиком Терентьевым, всё дудел и дудел “Прощание славянки”. Терентьев яростно, как перед расстрелом, дирижировал. — Кувалда! — произнёс машинист, подводя пыхтящий паровоз ко второму семафору.

Прощальный ритуал, узаконенный Верховным Советом ДР, требовал исполнения. Возле семафора к бетонному столбу был привязан очередной враг дальневосточного народа. Голова его была выбрита. В этот раз это был полный остроносый молодой человек, чем-то похожий на снеговика

---

[5] Примечания: 5
Стиснутые зубы *(кит.).*

из детских мультфильмов. Кочегар Жека, также бритоголовый, средних лет, с тяжёлым подбородком, глазами навыкат и вечно озабоченно полуоткрытым маленьким ртом, поднял кувалду, высунулся в дверь, размахнулся. “Снеговик” закричал по-заячьи пронзительно.

Кувалда обрушилась на его череп, кровь и мозг брызнули в стороны.

Семафор со щелчком дал зелёный свет.

Дверь закрыли, и машинист прибавил ходу.

— Поехали, — пробормотал Жека, поставил кувалду в угол и смахнул со щеки кусочек мозга.

Едва поезд тронулся и стал набирать ход, в спец-вагоне № 21 закипела работа. Делопроизводством в iron maiden руководили двое: есаул Гузь в форме ротмистра СБ ДР и капитан ГБ КНР Лю Жень Ши. Шестеро подручных из подземной тюрьмы на улице имени Ду Фу были разных национальностей: двое китайцев, трое алтайцев и белорус. Опыт работы у них был огромным. После Трёхлетней сибирской войны, охватившей просторы УР, РБ, АР[6], империи Саха, часть Казахстана и саму ДР, шли многочисленные процессы по выявлению скрывающихся дезертиров,

[6] Примечания: 6
Алтайская Республика.

военных и государственных преступников, а между КНР, ДР и РБ был договор о совместных следственных действиях. Сразу после подписания шестистороннего мира на озере Иссык-Куль спец-вагоны стали активно применяться на восточносибирских железных дорогах. Ши-Хо цепляли к поездам, пополняя преступниками на остановках. Это ускорило очистительные процессы в измученных войною шести государствах и способствовало упрочению мира на всём сибирско-азиатском континенте.

В решетчатой *раколовке* спецвагона сидели, прижавшись друг к дружке, задержанные. Это были люди разного пола, возраста и социального положения. Их объединяло одно: оцепенение в ожидании ужаса допроса. Это состояние делало людей совсем неподвижными, слипшимися в одну массу. Дознаватели называли их переваренными пельменями. Поэтому из клетки их приходилось выволакивать стальными крюками.

Первой вытащили семью, задержанную в Хабаровске: полного бородатого мужчину, его жену и двоих детей десяти и шести лет.

Есаул Гузь задавал всем один и тот же первый вопрос:

— Социальный статут?

Капитан Лю Жень Ши тоже озвучивал всегда один вопрос, по-китайски, по-русски и по-алтайски:

— Сопротивленец?

— Я свинками занимался на Ханко, ферма была, двести голов, поставлял свинину нашей доблестной армии, собачки были, валяли пояски из собачьей шерсти, всё на фронт, всё ради победы, чтоб радикулиту у солдатиков наших не завелось, патриот Дальнего Востока, в партии Хургала состоял, пока якуты не разогнали, — забормотал толстяк.

— Раздеть!

Подручные быстро содрали с толстяка одежду. На левом плече у толстяка был вытатуирован круг с полярным волком.

— Ты такой же фермер, как я банкир! — зло рассмеялся Гузь. — На дыбу. Горелку.

Не обращая внимания на оправдательные возгласы толстяка, его вздёрнули на дыбу. Он закричал. Завизжала его жена и заплакали дети. Толстяку стали поджаривать гениталии газовой горелкой. Он заревел медведем.

Гузь схватил жену толстяка за волосы:

— Сожжём муде твоему хряку, говори, кто он!

— Фермер, фермер, фермер!! — вопила жена.

— Парни, на тройные вилы её! — скомандовал есаул, швыряя женщину подручным.

И двух минут не прошло, как два белоруса и алтаец содрали с женщины одежду и стали насиловать.

— А вы смотрите глазёнками. — Гузь схватил воющих детей за шкирки и поднёс поближе. — Видите, что с вашей мамкой делают?

— Кто ваш отец? — повторял Лю с непроницаемым лицом. — Сопротивленец?

— Видеофаг… — прохныкал дрожащий от ужаса мальчик.

— Устами младенца, бля! — рассмеялся Гузь. — А говорил, фермер? Стоп, горелка, стоп, дыба.

Толстяка опустили на пол. Рухнув, он сжался на полу, выставив жирную спину. Жену его продолжали насиловать.

— Какой спутник? — спросил Гузь, пнув спину сапогом.

— Астра… 129… — простонал толстяк.

— Опять казахи, — покачал головой есаул. — Сколько же их внедрили, мать твою?!

— Много! — усмехнулся Лю, засветив голограмму протокола и быстро заполняя её.

— Сколько на нас и вас злобы накопили, а? —

Есаул подписал протокол.

— На нас больше, — поправил Лю.

Голограмма исчезла.

— Всех на ломти! — приказал Гузь.

Толстяк завопил и забился на полу:

— Золото есть, господа, товарищи, ксяншенмен, семь кило, под Барнаулом в лесу закопано!!

— Мы бессребреники.

— Знаю, где жидкие комплекса залиты!!

— На хер нам сдались твои комплекса.

В руках у двух подручных возникли бластеры, сверкнули напряжённо гудящим бело-голубым пламенем. Лучи с громким треском разрезали тело толстяка на части. Подручные теми же крюками подцепили дымящиеся куски и забросили человечину в контейнер.

Подручный алтаец занёс гудящий луч бластера над мальчиком:

— Кого любишь больше — папу или маму?

— Ма-м-му… — пролепетал тот, рыдая.

— Это правильно.

Луч с треском перерезал спину насилуемой.

— Ёб твою, Амат! — Насильники повалились на пол вместе с половинами женщины.

Её тоже разделали и закинули в контейнер.

— Парня к предкам! — скомандовал есаул.

— Встать! — заорал узколицый, тонкогубый и ушастый беларус. — Смирно!

Мальчик выпрямился перед ним, дрожа.

Бластер белоруса развалил мальчика с макушки на две половины. Половины не успели упасть, как их подцепили крюками и зашвырнули в контейнер.

Девочка сидела на полу, дрожа мелкой дрожью.

— А эта пусть от волков побегает.

Один из подручных привычно распахнул квадратную дверь.

— Марадона! — скомандовал Гузь.

Здоровенный и высокий алтаец отступил назад, размахнулся и дал девочке такого пинка, что та, как кукла, вылетела в квадратное пространство двери.

— Один — ноль! — произнёс алтаец мясистыми губищами и смачно харкнул на пол.

Следующими были братья из Хабаровска — полурусские-полукитайцы. Как их ни подвешивали на дыбу, как ни жгли, они кричали одно:

— Коммивояжёры!

Лю собственноручно стал отрезать им ноги по кускам, но следствию это не помогло. Исходя кровавой пеной, братья вопили от боли, но стояли

на своём:

— Коммивояжёры!!!

Тела их были татуированы агрессивными *живыми* татуировками, которые о многом говорили.

Лю плюнул им в лица.

— На ломти… — недовольно зевнул есаул, достал фляжку с коньяком и сделал глоток.

Братьев покромсали.

Ядерные китайские бластеры работали чисто — ни капли крови на полу, резаные части обугливались под режущими лучами тут же. Вытяжка, работающая в вагоне № 21 на полную мощь, удаляла горький дым.

Следующей из клетки выволокли очень полную женщину. Она так вопила и хваталась за других задержанных, что понадобилось три крюка. Алтайка. Хозяйка горной гостиницы.

— Кто жил у тебя во время войны?

— Крестьяне мои! У них дома все посгорали, авианалёт казахский, всех приютила, всех спасла, всех кормила, всех молоком своим, как мать, вспоила, а теперь терплю за доброту свою!

Но едва её грузное, мучнистое тело стали поднимать на дыбу, она завопила другое:

— ПВО! Казахи!! Муж сбежал! Сыночка в жаяу

эскер забрали, потом якуты пришли, штабные, штаб, штаб, шта-а-а-аб!! эве корганиси, номер двенадцать, я не виновата!

— Имена штабных! Память! Лица!

Память у толстухи оказалась прекрасной. Лю надел ей на голову голограмму, и все лица казахских военных возникли, со званиями, био-сомой, кустами. 12, 26, 35 имён.

— Осиное гнездо! — заключил довольный Лю.

— Куда её? — спросил Гузь.

— За правду — свобода.

— Побегай от волков, пухлая!

Открылся квадрат с заснеженным железнодорожным полотном, уходящим в зимний невысокий лес. Женщину толкнули в проём, но белый, красивый, гладкокожий зад её застрял. Он оказался больше квадратной двери.

— Нефритовая жопа! — усмехнулся Лю.

— Марадона! — скомандовал есаул.

Удар. Полное белое тело закувыркалось на рельсах.

Следующим вытянули старика-алтайца.

— Где твой сын, полковник ВДВ, дезертир и предатель?

Старик бормотал непонятное.

— Где он прячется?

Старый тряс головой по-козлиному и что-то блеял. На дыбе он тут же потерял сознание.

— Вколите ему йоку женчан! — приказал Лю.

Вкололи *весёлую правду. С* вывернутыми, порванными плечами, худой как жердь старикан вдруг вскочил и расхохотался.

— Сел медведь-медведь на лося-лося, да и поехал к волку-волку на свадебку-свадебку, чтобы от пуза-пуза натрескаться барсучьего сала-сала-сала, — заговорил он громко, нараспев по-алтайски. — А умный волк-волк сальце-то припрятал в тайном местечке-местечке, в дупле-дупле у совы-совы, сова-сова сидит-сидит, на всех глядит-глядит, улетать не хочет-хочет!

— Что мешает сове улететь? — спросил Лю.

— Яйцо-яйцо! — расхохотался дед.

— Ченсе ку[7], — расшифровал Лю и тут же скинул своим инфу.

Деда рассекли.

Крюк в раколовке зацепил длинноволосого парня.

— Я сам пойду, не надо, — спокойно произнёс он.

Вылез из клетки, встал перед дознавателями.

---

[7] Примечания: 7
Склад оружия *(кит.).*

— Ты поэт-вредитель, — глянул Гузь его протокольную голограмму.

— И горжусь этим, — с достоинством ответил парень.

— Пацифист?

— И горжусь этим.

— Дезертир?

— И горжусь этим.

— Сопротивленец?

— И горжусь этим.

— Что писал?

Парень тряхнул волосами и задекламировал:

Озадачили меня
Военкомы из района:
– Потроха на толь менять,
Мозг – на прелую солому.
И не вякай поперёк,
Одного тебя не хватит,
Колотухин заберёт
На муку сестёр и братьев.

Гузь и Лю переглянулись.

— Сообщники есть? — спросил Лю.

— У поэта не бывает сообщников. Поэт всегда один в этом мире! — гордо ответил парень.

— Герой-одиночка, значит? Это хорошо! — заключил Гузь и вдруг выпустил газы. — Во бля… пердение — золото. Слыхал поговорку, поэт?

Парень молчал.

— Героев уважаем, — продолжил Гузь. — Войны на героях держатся. Ты, Анзор Семёнов, от резака не помрёшь.

Есаул выхватил из кобуры кольт и профессионально выстрелил парню в лоб. Сверкнули бластеры, ещё агонизирующее тело поэта с треском развалилось на дымящиеся куски.

— На поэте хорошо покатим! Следующий!

Крюк завис над девочкой лет двенадцати, но она сама схватилась за него. Её вытащили, поставили перед следователями. Её голопротокол свидетельствовал: дочь расстрелянного врага народа атаманши Матрёны Пехтеревой, имеет брата.

— Где брат?

— Нигдя, — спокойно ответила девочка.

— Ты дебилка?

— Я не иебил, — ответила девочка, глядя ему в глаза.

— Повторяю: где брат скрывается?

— Нигдя.

Голограмма засветила *семейное пустое пятно.*

— И на хуя её задержали? — спросил Гузь Лю. — Там пусто.

— Инструкция.

Гузь мрачно посмотрел на девочку. Она была прелестной — старше своих лет, с оформившейся грудью, голубоглазая, с двумя русыми косичками и привлекательным лицом. На щеке её был свежий шрам.

— Как звать? — спросил Гузь.

— Аля, — повторила она, неотрывно глядя ему в глаза.

— Тебя уже ебали, Аля?

— Я не проёбано.

— Это хорошо! Что тебе, Аля, разорвать — пизду или жопу?

Девочка смотрела спокойно:

— Я лучша отсасо тебя.

— Отсосать? А ты умеешь?

— Умео.

— Умео? Хао! — рассмеялся есаул, расстёгивая ширинку. — На колени, Алька!

Девочка опустилась перед ним на колени.

— Руку сюда давай.

Она протянула ему руку, он взял бластер, включил. Бело-голубой луч загудел над русой головкой девочки.

— Если одним зубком заденешь моего юла брин-нера — отрежу руку! — предупредил Гузь.

Другой рукой девочка взяла и направила в рот его напрягшийся член. Голова её ритмично задвигалась. Мужественное лицо Гузя не изменилось. Облизав верхнюю тубу, он перевёл взгляд своих белёсых глаз на Лю:

— Дети войны, а?

— Их много, — серьёзно кивнул Лю.

Девочка делала своё дело с толком. Щёки есаула заалели, рот раскрылся. Он чаще задышал. Обтянутый пятнистыми, серо-чёрно-зелёными штанами зад его ритмично задвигался, луч бластера задрожал.

Команда дознавателей СБ ДР спокойно ждала своего командира.

— О, да, да, да, ебёна ма-а-а-ать! — прорычал есаул, выпуская детскую руку, и замер.

Девочка застыла, глотая сперму есаула и шумно дыша носом. Затем медленно, с чмоком выпустила фаллос изо рта. Выдохнула, облизала свои покрасневшие губы и жадно задышала.

Есаул Гузь выключил бластер.

— Аля… — повторил он, убирая член и застёгиваясь.

Стоя перед ним на коленях, девочка подняла на

него свои голубые глаза.

— Ты хорошо сосёшь. Кто научил?

— Никото.

— Самоучка, бля? — хохотнул раскрасневшийся есаул. — Что с тобой делать, дочь врагини народа?

— Отпуск, уходо, — попросила она.

Гузь вздохнул, глянул в невозмутимые чёрные щёлки глаз капитана Лю.

— Ты же знаешь, Аля, служба безопасности никого из арестованных врагов просто так не отпускает. И их родственников — тоже.

— Знаён.

Есаул задумался ненадолго.

— А ты в Бога веришь?

— Бого уверо. Мамо веро. Науч.

— Тебя науч?

— Науч.

— Хао. Покажи мне, атеисту, где ваш Бог живёт.
Девочка наморщила красивые чёрные брови.

— Ну, живо! Где Бог?

Она подняла палец кверху:

— Там Бого.

— Живёт?

— Живот Бого.

— Закрой глаза, когда говоришь о Боге.

Она закрыла глаза. Есаул нажал кнопку активации бластера и молниеносным, точным движением отсёк ей указательный палец.

Девочка дёрнулась головой и плечами. И посмотрела на свою руку.

— Ну вот… — Гузь поднял обрубок палец с пола, понюхал обугливший срез.

И швырнул палец в контейнер.

— Это, Аля, на память о встрече. Тебе и нам.

Девочка молча смотрела на обрубок своего пальца. Покрывшийся запёкшейся плотью, он слабо дымился.

— Ты чего, боли не чувствуешь, дебилка?

Девочка молчала.

Он тронул её носком сапога:

— Чего молчишь?

Она молча рассматривала свою покалеченную руку.

— Разбомблённая, — произнёс ушастый белорус.

— Таких много, — невозмутимо заключил Лю.

— Вали отсюда. — Гузь снова тронул её.

Девочка встала.

— Амат! Отопри ей.

Алтаец отпер ключом тамбурную дверь, открыл. Аля шагнула в тамбур. Дверь за ней

захлопнулась, щёлкнул замок. В тамбуре было сумрачно, промозгло, качало, пахло креозотом и сортиром. На стоп-кране нарос иней.

Прижимая раненую руку к груди, Аля взялась другой за холодную ручку, повернула и вошла в пространство, где было чуть светлее и теплее, чем в тамбуре. И воняло не сортиром, а переселенцами.

В вагоне № 13, четвёртого класса, ехали малоимущие, возвращающиеся после войны на свои места. Сидели тесно, семьями, в зимней одежде, с вещами. Здесь русской речи было много. Люди выпивали, празднуя возвращение домой.

— Тю, девка! — весело заметил её подвыпивший пучеглазый мужик в распахнутом тулупе. — Ты чего, в сортире ехала? Али в тамбуре? Зайцем?

— Зайчихой! — сказала круглолицая жена мужика, сочно откусывая от яблока.

Их семейство занимало две лавки, последние перед тамбуром и сортиром. На корзине была расстелена сложенная вчетверо скатерть, и на ней лежали сало, хлеб и яблоки. Большую оплетённую бутыль с самогоном мужик держал на коленях, как ребёнка.

— Ши-Хо, — показала палец Аля.

— В Ши-Хо была? — перестал смеяться мужик.

— Ши-Хо.

— Ироды, — жуя, равнодушно покачала головой жена мужика.

— Ты сама-то откуда, дочка? — спросил седобородый одноглазый дед.

— Я из Хайшеньвэй.

— Сирота, что ль? — спросил мужик. — Куда ты едешь?

— Куда она могёт ехать?! — толкнула мужа жена. — Её ж забрали!

— Ну да, — понял мужик.

— Садись сюды, доча. — Старуха показала узловатой рукой на баул. — Поди, исстрадалась?

— Ты враг народа? — неприветливо спросила крутолобая девочка, ровесница Али.

— Ежели отпустили — не враг, — заключил дед, оглаживая бороду.

— Покажи руку-то, чай, перевязать надобно? — Старуха потянула Алю за куртку.

Аля показала им руку без пальца.

— Бластер, етить твою, — глянул и пьяно кивнул мужик. — Тут и перевязывать неча: запеклося.

— Запеклося, Господи помилуй… — покачала головой старуха.

Женщины усадили Алю на баул. Баул завизжал

и забился. Аля вскочила.

— Не бойсь, поросята! — расхохотался мужик. — Садись, не укусют!

Аля села. Поросята повизгивали и шевелились под ней.

— Ну-ка, девка… — Пучеглазый плеснул в кружку самогона. — Глотни от всех болезней. Я те так скажу — пальца нет, зато голова на месте.

— И слава Богу, — пробормотала старуха, мотнув головой, как лошадь.

Мужик протянул Але кружку. Она взяла её здоровой рукой. Мужик налил самогона в стакан, чайную чашку и три пиалы. Его семейство, включая девочку лет четырнадцати, разобрало налитое. Сам он поднял бутыль:

— За мирное небо!

Все, кроме Али, чокнулись с бутылью. И выпили, каждый из своей посудины. Мужик глотнул из бутыли. Аля выпила из кружки.

Некоторые из семейства потянулись к закуске.

— Закуси! — Баба положила кусок сала на хлеб, протянула Але.

Она приняла, подержала и положила на скатерть.

— Поешь, поешь, дочка.

— Не хоч.

— В Ши-Хо они так рассуждают, — заговорил мужик, обращаясь к старику. — Мир подписали, китайцы победили, репарации списали — ДР, АР, якутам. По блату! Политика, понял? А нашему УР — во!

Он показал старику кукиш.

— А казахи? — спросил старик.

— Казахи стоят раком перед Китаем и японцами.

— Так они ж тоже не платят репараций.

— Не платят! — затряс головой мужик. — И не будут!

— Чего ж они тогда раком стоят? — усмехнулся старик.

Мужик посмотрел на него своими пьяными выпученными глазами. И вдруг несильно ударил старика по лицу.

— Чего дерёсся-то? — Жена толкнула мужа локтем.

— А чего он? — Мужик с обидой посмотрел на старика.

В проходе между лавками зазвучала балалайка, ударили деревянные ложки и сиплый голос запел надрывно:

Говорит старуха деду:

“Я в Японию поеду!”
Что ты, старая пизда,
Туда не ходят поезда!

В вагоне вяло засмеялись.

— Ваня, спой чаво поновей! — раздался женский голос.

Сиплый запел:

Мир в ДР давно подписан,
Хуй с войны сбежал, как вор!
Но японцами обдристан
Иссык-Кульский договор!
У жены Киото-сана
Из пизды торчит MARSANO:
Запасайся, Витька Ли,
Тебя снова выебли!

Вагон грохнул от смеха, раздались хлопки и одобрительный свист.

— Садитесь к нам, ребяты, нальём!

— Сюда копыта двигай, Ваня!

— Во, понял? А ты — раком! — мотнул головой пучеглазый мужик старику.

Тот жевал, уставившись в окно единственным глазом.

Старуха забормотала:

— Вот, Настёна, ты мине про свёклу пытала, когда сажать?

— Спрашивала, — пьяно подтвердила жена пучеглазого.

— Как на клёне серёжки появились — сажай свёклу. Как осина зацвела — морковь.

— Да, знаю! — махнула баба. — А как черёмуха — картошку.

— Картофь, картофь, кормилицу, — по-лошадиному мотала головой старуха. — Да токмо в котором часу сажать — тоже знать надобно.

— Ну?

— Токмо до полудня сажай. Ежли после посадишь — червь пожрёт. И в полнолуние сеять — Господь тебя упаси, девка! Токмо когда луна растёт иль на убыль пошла.

— А на молодой?

— То, что вверх растёт, — на молодую луну сажай.

— Укроп, что ль?

— Укроп, пятрушку, щавель, подсолник, горох, кукурузу, рожь, пашаничку, гаолян. А как луна на убыль пошла, сажай то, что вниз растёт, — картофь, свёклу, морковь, репу, рядиску, хрен…

Аля заснула, привалившись к спине старухи.

Ей приснился сон:

Она идёт по полю, что рядом с их домом, большому полю, на котором растёт что-то мелкое, шелестящее. Аля наклоняется, смотрит: это не рожь, не гречиха, не овёс, а что-то совсем непонятное. Она становится на колени, чтобы рассмотреть поближе. Это маленькие, худосочные растения, похожие на садовый горошек, гнущиеся, клонящиеся. Но вместо стручков у них — женские половые органы, маленькие совсем, но настоящие, живые. Аля трогает их, и растения начинают содрогаться, извиваясь. Она понимает, что им хорошо. Она трогает их больше, они извиваются, дрожат. И оттого что им хорошо, сердце Али начинает биться возбуждённо. Ей тоже хорошо вместе с этими растениями. Приятное чувство возбуждения наполняет тело. Она трогает растения, трогает, трогает, возбуждаясь. Ей становится всё острее, всё приятнее. Она идёт по полю, касаясь растений рукой. Всё поле наслаждается от её прикосновений. И с каждым шагом по этому наслаждающемуся полю ей становится хорошо, хорошо, совсем хорошо, просто так хорошо, что дрожат и подгибаются ноги, ноги становятся мягкими, тёплыми, гнущимися, она валится, валится, валится в поле.

Первой остановкой стал Шуайбинь — бывший Уссурийск. На вокзале немногие пассажиры сошли, зато подвалило народу в вагоны четвёртого, третьего и второго класса. Младпом машиниста подвёл к тендеру обледенелый хобот водяной колонки, стал заливать. Старпом насадил на *квадригу* увесистый колосниковый ключ, повернул, сбрасывая шлак из печи в поддон.

— Масло прокачай! — распорядился машинист.

— Сделаем!

На груди у машиниста заговорил в балаболе начальник поезда:

— Из Ши-Хо контейнер ломтей примите.

— Есть!

Машинист зашёл в кочегарню, где Жека и Гера закусывали, сидя на откидной лавке и разложив свои дорожные *тормозки.*

— За контейнером в iron maiden! — приказал машинист.

Кочегары убрали еду, дожёвывая, спустились на платформу. В отличие от заснеженной владивостокской она была чисто выметена.

— Постоять придётся, — сказал машинист китайцу в форме ЖД КНР, маячившему возле паровоза с красным флажком в руке.

Тот кивнул.

Тем временем из Ши-Хо электропогрузчик вытащил контейнер с накромсанной парной человечиной и повёз по перрону к паровозу. А к серому вагону без окон подогнали новую партию арестованных. Конвой построил их, приказал рассчитаться по номерам.

— Тридцать четыре, — доложил начальник конвоя капитану Ли и засветил голограмму.

— Что-то многовато для такой деревни, — недовольно поскрёб щёку Гузь.

— Работа смелого боится, — произнёс Ли китайскую пословицу.

— У нас — наоборот. — Гузь сплюнул на чистый перрон. — Смелый боится работы, а дурак её ищет.

— Потому что вы, русские, Конфуция не читали.

— И не прочтём. — Гузь высморкался на перрон и скомандовал начальнику китайского конвоя. — Пошёл!

Арестованных по очереди бегом погнали в вагон.

Под контролем кочегаров вокзальный электропогрузчик поднял и опрокинул контейнер с человечиной в ломтевой отсек паровоза.

— Свежатина, — сощурился Жека. — У СБ контора работает, ебать мой лысый череп.

— Даром свой хлеб не едят, — произнёс Гера, закуривая.

Он был антиподом своего напарника во всём. Бритоголовый, с промятым мясистым лицом Жека, бывший зэк, трижды отсидевший за воровство и изнасилование, говорил в основном на фене, верил в "рок" и в "ситуацию" и в то, что пять юаней лучше, чем четыре; ни дома, ни семьи не имел и подворовывал при любом удобном случае.

Поджарый, с правильными чертами всегда серьёзного лица с офицерскими усиками Гера, бывший штабс-капитан ВДВ ДР, разжалованный во время войны сперва в солдаты за "бунт против штабных бездарей", а потом и вовсе комиссованный по ранению, верил в православного Бога, имел жену во Владивостоке и сына в Пекине, говорил на старомодном русском, был честен до идиотизма, непримирим к врагам и нетерпим к несправедливости. Иссык-Кульский мирный договор он презирал, считая предательством. Кочегаром пошёл работать "из принципа". Да и платили на ЖД после войны неплохо.

В кочегарке они присели доесть начатое. Походные *тормозки* у них также были совсем разные:

Гере сумку с походной снедью собирала жена; в ней были небольшой термос с зелёным чаем, пирожки с куриной печёнкой, сервелат, жареный тофу, японская редька, маринованный имбирь. В грязном узелке Жеки имелась только копчёная свиная грудинка, солёные огурцы, ржаной хлеб да пара яблок. Ещё его карманы были полны подсолнечных семечек, которые он называл “семки” и постоянно лузгал их.

Закусывая, они продолжали разговор на всё ту же тему, ставшую для них повседневной: война и люди.

— Я в крытке когда сидел, нашему смотрящему маляву подогнали: подписан приказ главкома — зэков с малым сроком тянуть в чистильщики на бронепоезда, заносы снежные чистить, день за три в хате, лучшим — амнистия…

— Чушь! На каждом бронепоезде имеется укомплектованная бригада, снегорезы, угольники.

— То-то и дело, тема гнилая, им ломти в топку нужны, а не работяги, но ясно стало, что многие лёгкие поведутся, ну, те, что по бакланке, или просто мужики по первоходке. И вишь, ломятся, падлы, с этой темой в крытку! Не в зону, где воздуха для мыслей у человека до хуя, а в крытую! А тут кубатура, бля, бетон! Какие мысли, нах?

Спёртость ума! Короче, смотрящим тогда был Володя Кореец, достойный кент, законник, и вот он эту шнягу просто, бля, закрыл, как дважды два: разослал он по хатам…

— Поехали! — Усатое лицо машиниста сунулось в кочегарку.

Кочегары тут же встали, прибирая тормозки, пристегнули лавку к стене и приступили к своей работе. В узкую, на совок похожую тачку кинули четыре человеческих обрубка, зачерпнули шесть ковшей нефти из цистерны, залили ею обрубки, схватились за ручку тачки, стоящей на колесах. Колёса же стояли на узеньких рельсах, ведущих прямо к топке паровоза.

— Ал-л-лигатор-р-р!! — угрожающе выкрикнул Жека.

Старпом открыл зев печи. Кочегары с разбегу загнали в него узкую тачку, наклоняя. И тут же вытащили пустую. Ни капли нефти не пролилось на пол. Кочегары на ТСЭ-4 работали чисто. Старпом закрыл печь. В ней затрещало.

Жека с Герой наполнили ещё три тачки и так же виртуозно трижды вкатили *аллигатора* в печь.

Машинист продул цилиндры, дал гудок. Китаец на перроне поднял красный флажок. Паровоз двинулся и, пыхтя, стал потихоньку набирать ход.

Гера швырнул в тачку ломти, Жека полил их нефтью.

— Короче, — продолжил он, — разнесли наши по хатам инструкцию от смотрящего. Простую, бля, аж не ебаться: кто подпишется на бронепоезда, тем — пизда.

Гера повернул к Жеке своё всегда серьёзное лицо:

— И это всё?

— А хули ещё? — спросил Жека и захохотал, обнажая гнилые, прокуренные зубы.

Гера снисходительно-недовольно хмыкнул.

Аля проснулась. Её неприятно трясли за плечо. Телу помешали как раз в тот момент, когда могло стать совсем хорошо, так хорошо, как давно не бывало.

— Билет! — спросил кондуктор с худощавым, измождённым лицом.

— Вот её билет. — Старуха взяла Алину руку с отсечённым пальцем и показала кондуктору.

— Она из Ши-Хо, — добавила напротив сидящая девочка, исподлобья глядя на кондуктора.

Остальные члены семьи пучеглазого мужика уже спали.

— В Цитайхэ ссажу, — бесстрастно заключил кондуктор. — Нет билета — нет пассажира.

— Креста на тебе нет! — закивала головой старуха.

— Есть, — спокойно возразил кондуктор. — А зайцев на поезде не держим. Инструкция.

— Мне над в Красноярске, — сказала Аля. — Там мамо подруго.

— В Хызыл Ч-а-а-ар? — протянул кондуктор. — Это, милая, двое суток пути, ежли без заносов поедем. Тридцать два юаня в четвёртом классе.

— У мень куртка живородо. — Аля расстегнула свою куртку.

— Натурой не беру. Запрещено. Пройдись по вагонам. Если наберёшь на плацкарту — доедешь. А нет, в Цитайхе — саёнара.

Кондуктор двинулся по вагону в обратную сторону.

— Вот тебе, дочка. — Старуха трясущейся рукой дала Але пол-юаня. — Ступай, попроси Христа ради.

Аля взяла монету и двинулась по проходу.

— Людь добры, подать на билето! — заговорила она, протянув здоровую руку.

Покалеченную руку она не показывала.

В двух вагонах четвёртого класса на Алю отреагировали вяло, большая часть пассажиров спала, несмотря на дневное время. Подал только один

мужчина, тоже пол-юаня.

Перейдя через тамбур, Аля захотела писать. Она вошла в сортир и помочилась. Глянула на себя в зеркало. Показала себе свою руку с обрубком. Обрубок пальца вдруг заныл. Губы сами скривились, слёзы потекли.

— Мамо, видишь я? — спросила она у зеркала.

Вытянула из дырки салфетку, вытерла лицо, высморкалась.

И пошла в вагон третьего класса. Здесь было не чище, чем в тех двух, и людьми пахло ещё сильней. Лавки стояли в плацкартных отделениях, наверху виднелись спальные полки. Вагон был полон. На лавках сидели плотно, кто ел, кто играл*ся* в *умнице. Со* спальных полок торчали ноги. Протянув ладонь, Алина побольше набрала воздуха, чтобы попросить милостыни погромче, но вдруг впереди раздалось громогласное:

— А теперь я вам, люди добрые, про Бога скажу! Бог наш молчанием велик! Храни Бога в душе, а совесть в сердце! Веруй в Богово, а не в чёртово логово! Богу не перечь, не буди невидиму картечь!

— От картечи, дед, Бог не укроет! — раздался мужской голос. — Во, смотри! Под Усть-Илимском! Была рука, стала решето! Химеры! Вольфрам!

— На Бога надейся, а ногу подволакивай! — воз-

разил первый голос.

— Так у тебя ж ног-то нет, ёб твою! — раздался смех.

— Молись Богу, береги ногу! — возразил громкий голос.

— Да что-то ты не больно сберёг!

— Убогому Бог не помеха!

— Тебе — точно, дедушка!

Хохот стал сильнее. Аля подошла ближе. В проходе на низкой коляске, опираясь на пол двумя утюгами, стоял инвалид. Это был полный, широкогрудый старик с большой белой бородой, большим красным носом и выбритым черепом. На нём был старый поношенный ватник.

— На тебе, дед, поправляйся. — Двое протянули инвалиду мелочь, один — печенье.

Инвалид подставил шапку.

— Про Бога рассказал, таперича про пизду давай! — раздался пьяноватый голос.

Пассажиры засмеялись. Инвалид, не смутившись ни на секунду, заговорил своим зычным голосом:

— Жизнь и пизда — одна звезда! Пизда ушастой не бывает! На пизде дрова не возят, пизду в пизду не посылают! Пизда мужиком правит, а рубль — миром! На сухой пизде в рай не въедешь! От

пизды пропиздью не отпиздишься! Свисти в пизду, да знай меру! Пизда без смазки, что без снега салазки!

Каждая пословица вызывала смех пассажиров. Когда инвалид закончил, слушатели одобрительно зааплодировали. В шапку полетела мелочь и куски еды. Воспользовавшись паузой, Аля снова набрала воздуху и громко, почти нараспев произнесла:

— Людь добры подайть сирот на билето до Красноярске!

Пассажиры на это не обратили внимания.

Зато инвалид обернулся к Але. Его массивное лицо было обезображено страшной, багровороозовой опухолью в синих прожилках, на большом носу торчало золотое пенсне с единственным треснутым стеклом.

— Ты откуда, конкурентка? — спросил дед своим зычным голосом.

— Мень во Влади в Ши-Хо забрато, там пальцо секли.

Аля показала руку. Инвалид молча осмотрел руку, потом Алю и одобрительно произнёс:

— Красавица!

Полные тубы его исказились улыбкой, которой мешала опухоль.

— Много подали?

— Один юане.

— Негусто!

Дед огладил свою роскошную белую броду:

— Мой тебе совет, дочка, ты вот что…

Но в этот момент в вагоне раздалась оплеуха, за ней другая, и началась драка с женскими криками и мужской бранью.

— Это что такое?! — угрожающе воскликнул инвалид, оттолкнулся утюгами от пола и покатил по вагону к дерущимся.

В шестом плацкарте сцепились двое — парень в расстёгнутой солдатской гимнастёрке и мужик с небритым, обрюзгшим лицом. Мужик был пьян. Подруга парня и жена мужика пытались разнять дерущихся. Белобрысый мальчик плакал и бил парня, одна девочка вопила, другая кричала и ругалась матом.

— А ну, лоси, помирю! — В пятом плацкарте поднялся рослый детина в тельняшке, схватил дерущихся за руки, но тут же получил от мужика в ухо.

— Ах, ты, еби твою… — Детина заехал мужику в морду так, что тот повалился на воющих девочек.

— Тьфу! — Подруга парня в гимнастёрке плюну-

ла в лицо мужику и истерично запричитала: — Он же за тебя, тыловую сволочь, кровь лил, жизнью рисковал, а ты, свинья, подвинуть жопу свою не можешь?! Те-е-е-есно ему, гаду!

— Гад, гад… — Парень пытался жилистым кулаком дотянуться до мужика.

Но богатырь в тельняшке перехватил его руку:

— Стоп!

Девочки вопили, полная жена мужика навалилась на него, как подушка, защищая от ударов.

Инвалид поднял вверх свой толстый палец:

— Дурак дерётся, а умный смеётся!

Дерущихся окончательно разняли. Инвалид подождал и продолжил:

— Отчего человече дерётся? Оттого что мало ебётся! Драка — гадость, а ебля — сладость! Ети жену, делай добро, расти детей, копи серебро! Лучше еть жену на мягкой кровати, чем морду соседу побивати! Не доя того Господь морды нам дал, чтобы каждый дурак их пробивал! Делай добро, не дырявь Божье ведро!

Столпившиеся в проходе из-за драки рассмеялись.

— Подайть сирот на билето до Красноярске! — заговорила Аля, протягивая ладонь.

— Им теперь не до этого, — урезонил её инва-

лид. — Пошли, сирота, в другой вагон.

Этот вагон был также третьего класса. Несмотря на три часа пополудни, большая часть пассажиров спала. Дед-инвалид постеснялся будить их своим зычным голосом и проехал по проходу с шапкой на коленях. Аля шла следом с протянутой ладошкой, тихо бормоча свою просьбу.

Им ничего не подали.

Они перебрались через тамбур со следами рвоты и оказались в столовой для пассажиров третьего и четвёртого классов. Здесь были свободные места.

— Вот что, красотка, сдаётся мне, мы с тобой заработали на кювет… на обед, — заключил старик, поднимая кверху свой значительный палец. — Ты голодная?

Аля молчала.

— Когда ела последний раз?

— Позавчер.

— Ясно!

Инвалид выбрал свободный столик, уверенно заехал на своём *поддоне* под него, согнувшись, схватился большими руками за стол и привинченный к полу стул и вытащил снизу, усадил на сиденье своё большое тело.

— Присаживайся! — скомандовал он Але.

Она села напротив. К ним тут же подошла официантка неопределённых лет, в белом переднике и с бумажным кокошником на голове.

— В долг не отпускаем! — неприветливо сообщила она.

— А почему ты, милочка, решила, что мы будем одалживаться трапезой? — Инвалид выложил перед собой на стол свою белую бороду и разгладил её своими большими белыми, но не очень чистыми руками. — Лучше засвети нам этот… прейсервант… прейскурант.

— Ван-тан, солянка, онигири с лососем, баоцзе, — пробормотала женщина, с неприязнью поглядывая на опухоль инвалида.

— А из спиртного?

— Водка русская, китайская, пицзю[8], морс малиновый.

— Двести грамм русской, один морс. Что есть будешь, сирота?

— Ван-тан супо.

— Онигири возьми, сытный харч.

— Онигирь.

— Один, два?

— Три! — подсказал старик. — А мне солянку и

---

[8] Примечания: 8
Пиво *(кит.).*

четыре бао-цзе.

Официантка удалилась. Инвалид снял пенсне со своего большого, усеянного красно-фиолетовыми прожилками носа и принялся неспешно протирать единственное стекло грязным носовым платком.

— Тебя как звать? — прищурил он свои оплывшие глаза.

— Аля.

— Сколько лет?

— Двадцать.

— Двадцать?!

Она кивнула.

— Не верю! Ну да ладно… Откуда сама?

— Жили на Обь.

— Обь большая. Где именно?

— Под Барнаул.

— С Алтая, значит? Знаю ваши места! Бывал. И по Оби плавал. Голым! Чуть не утонул. А как с роднёй дело обстоит?

— Мамо могило.

— А папа?

— Нет папо.

— Плохо! — Инвалид водрузил пенсне на нос. — Тебе в Красноярск?

— Да, тамо мамо подруг живо.

— Живо? Если ещё *живо — хорошо.*

— Мне до Цитайхэ надо тридца одино юан собор. На билето. А то ссад.

— До Цитайхэ? — Старик глянул на карманные часы. — Пару мрасиков… это… пару часиков у тебя есть. Наберёшь!

Аля перевела взгляд за окно. Там тянулся заснеженный лес.

— За что тебя забрали?

— Я мамино дочь. Мамо был атаман Матрёна. Враг народ.

— Дочка атаманши! Серьёзно! Пальчиком ты легко отделалась. Такую бархотку… такую красотку могли бы изнасиловать, да и за борт.

Аля кивнула.

Официантка принесла поднос с едой и напитками. Инвалид налил себе в стакан водки из графинчика, поднял стакан:

— За твоё светлое будущее, Аля!

Аля подняла свой стакан с морсом.

— Спасиб! И за ваш.

— Зови меня просто дедушкой. Легко запомнить.

— За ваш здоров, дедушко.

Они чокнулись. Инвалид выпил, перелил в стакан из графинчика остатки водки, взял ложку

и стал громко хлебать солянку. Аля набросилась на ван-тан.

— Атаманша… — покачал головой инвалид, хлебая солянку. — Сколько их было…

— Мой мамо хорош… — пробормотала Аля.

— Ясное дело. Мамо плохой быть не может. Атаманша!

Аля стрельнула на старика быстрым взглядом красивых глаз, продолжая жадно есть.

— Теперь… ммм… все атаманы. Всех и вся. Времена такие. O tempora, o… как там… борее, хорее? Я, Аля, после *ядерки* стал слова забывать.

Важные. И людей. Многих забыл. И меня многие забыли. Закон блызни… жизни.

Он взял стакан с водкой и вдруг забормотал, прищурив глаза и гримасничая здоровой стороной лица, словно пытаясь снять с неё невидимую паутину:

— Погоди погоди погоди нет погоди нет не надобно нет не надобно нет нет глупцы не этого я тебе вот что вот что не этого не этого не этого!

Голова его затряслась, и он издал звук, похожий на чихание, — раз, другой, третий. И замер, закрыв глаза, словно окаменев.

Аля тоже замерла с полным ртом.

Старик сидел словно каменный. И вдруг выпу-

стил газы. И ожил, зашевелился.

Аля смотрела на него.

— А и этого… этого… простак, простак и глупец, вот воля…. — Старик зевнул страшно, во весь рот беззубый. И открыл глаза. Глянул на Алю, словно впервые увидел.

— Ты кто? — спросил он.

— Я Аля.

Он посидел, заметил, что сжал в руке стакан с водкой.

— Аля? — спросил он.

— Аля.

Подумав, он почесал другой рукой свою страшную опухоль.

— Знаешь, Аля, вот что…

Снова задумался, вперившись взглядом в Алю.

— Вот что, Аля. Никого не предавай. Ясно?

— Ясно… — буркнула она и стала осторожно жевать.

Старик вздохнул и выпил, запрокидывая бритую голову, отчего борода его дотянулась до Алиного лица. Но она даже не отшатнулась.

— Ах! — крякнул он, схватил бао-цзе и сразу откусил половину, зажевал с таким видом, словно ничего с ним странного сейчас и не происходило.

— Дедушко, а вы владиковский?

— Я-то? Нет, милая. Я хабаровский. Был. Пока туда *ядро* не прилетело.

— Это… сейчас? Навойно?

— Да нет, красавица. Сейчас-то они обошлись без *ядер.* А тому уж девять годков. Ты тогда ещё в детский садик ходила… водила… модила… хотя нет, что я! Тебе же сколько?

— Двадцать.

— Двадцать! Как такое может быть?! Правда — двадцать?

— Двадцать.

— И у тебя никого?

— Братец.

— Где он?

— Не знай.

— Жив?

— Не знай.

— Хоть так. А у меня вообще — никого! — бодро тряхнул старик бородой, жуя.

Аля ела, разглядывая его необычное лицо. Опухоль меняла его мимику всегда неожиданно. Когда он смеялся, казалось, что он готов расплакаться.

— Детей бог не дал. Жену дал, хоть и поздно. Тоже инвалида.

— И что… жена?

— В тот день, когда прилетело, её за секунду сожгло, а потом вышибло ударной холной… волной в это самое… как его… в окно! Угольки упали вниз. А я живым остался. Хоть и с этим…

Он щёлкнул себя по опухоли.

— В госпитале на обходе больных был. Внизу. Потому и выжил. А жена была на четвёртом, в оранжерее.

— Вы враче?

— Был врач, а теперь я — срач!

Старик засмеялся. Аля взяла тёплый онигири и откусила. В рисе, обёрнутом сухими водорослями, прятался кусочек вкусного лосося.

Старик быстро расправился с пампушками, рыгнул и вытер мясистый рот всё тем же носовым платком.

— Любезная, приговорчик! — поманил он пальцем официантку.

Та подошла.

— С вас двенадцать юаней.

— Получи тринадцать за добрые глаза!

Официантка усмехнулась, забирая деньги.

Наевшись, Аля откинулась на пластиковую спинку стула. За окном тянулся всё тот же лес.

Она подняла взгляд выше и увидела на потолке

монорельс с бумажными книгами. Китайские, японские, английские, русские… Книги висели под потолком.

— Дедушка, а вы умеет читать русски?

— Пока ещё — да! А ты — нет?

— Я японск читать. И английск читать. А по-русски только говорть.

— Тоже неплохо.

— А… почитать мне книжка русско? — неожиданно попросила Аля.

— Вслух? Тебе? — усмехнулся старик. — Изволь! Читаю я пока порядочно. Какую?

Задрав голову, он стал разглядывать книги.

— Тут два русск, — смотрела Аля. — Одна — толстый.

— “Война и мир”, — прочитал название старик. — И та ещё… “Белые близнецы”. Какую выберешь?

— Вон ту, что не толсты.

— Про белых близнецов?

— Да.

— Хао! Любезная! — зычно окликнул дед официантку. — Нам во-он ту книжку почитать.

— Два юаня, — отозвалась официантка, доставая пульт.

— Хао!

Официантка нажала кнопку на пульте, и книжка на пластиковой пружине поехала по потолочному монорельсу, а потом опустилась на стол перед инвалидом. Он взял её, раскрыл на первой странице и сразу стал читать своим сильным голосом:

Руки их быстрые. Сильные. Покрытые белой шерстью мелкой. Натягивают тетиву нового лука. Из шести ветвей болотной ивы сплели они лук под паром горячим. Так умеют они, молодые и сильные. Гнётся лук, повинуясь сильным и белым рукам. Солнце степное зимнее играет в белой шерсти рук сильных. В каждом волоске поёт утреннее солнце. Песня его ярка. Высоко и сильно поёт солнце степей. Скрипит податливо древо лука. Тетиву живородящую натягивают руки белые. Руки, которые умеют. Руки, которые знают как.

— Наш! — смеётся Хррато победно.

— Верный! — Плабюх тетиву завязывает законными узлами.

Эти узлы надо знать. Мать узлам научила. Шестнадцать их. И не подведут они. Никогда.

Зубами белыми Плабюх от тетивы ошмёток откусывает. Отдаёт Хррато с поклоном белой головы: — Погребение, брат.

— Погребение, сестра.

Хррато тесак стальной из ножен выхватывает, втыкает в мёрзлую землю. Раздвигает землю. Ошмёток тетивы в раздвиг с поклоном опускает. Плабюх лук новорождённый с поклоном на землю кладёт, чтобы раздвиг между луком и тетивою оказался. Выпрямляются Плабюх и Хррато, близко встают лицом к лицу.

— Окропление, брат.

— Окропление, сестра.

Мочатся на раздвиг земляной. Хррато уд свой белый рукою направляет. Плабюх, ноги раздвинув, слегка приседает.

Струи мочи, паром исходящие, ударяют в холодный раздвиг земляной.

— Проращение, брат.

— Проращение, сестра.

Хррато тесаком раздвиг заравнивает. Плабюх лук поднимает, целует в три места заветных:

Нбро.

Хубт.

Фобт.

Хррато из колчана вытягивает стрелу длинную, с поклоном протягивает сестре:

— Первенец.

Та вскидывает лук, стрелу мгновенно приладя.

Хррато выхватывает из трпу заплечного живого сокола.

— Айя!

Подкидывает сокола. Летит тот стремительно, крыльями воздух простригая.

Но недолго.

Тетива гудит знакомо:

— Ромм!

Стрела свистит невидимо. И сокол пронзённый падает на землю.

— Ты совершенна, сестра моя, — улыбается Хррато белозубо, переходя на язык людей. — Не устаю восхищаться совершенством твоим.

— Я лишь тень твоего совершенства, брат, — Плабюх отвечает, лук новый в свой трпу убирая.

— Ты скромничаешь, лукавая.

— Нисколько. Я тень твоя. Без тени не бывает живых существ. Кем бы ты был без моей тени?

Плабюх стоит напротив солнца. Она голая, как и брат. Белое лицо её озарено улыбкой. И солнцем. Тёмно-синие глаза смотрят на брата. Её тело совершенно, как и тело брата.

За спиной у Плабюх бескрайняя степь. Снег поздний, февральский местами уже выбелил её. Ветер уходящей зимы поёт в травах сухих.

— Мы родили твоё новое оружие, сестра. И

заслужили право на пищу.

— Мой лук и стрела приготовили её. Еда ещё тёплая и не успеет остыть.

Они подходят к пронзённому стрелою соколу. Сильными руками Хррато разрывает птицу пополам. Отдаёт половину сестре. Тёплая кровь сокола исходит паром на морозе, течёт по рукам. Они быстро рвут мясо птицы сильными зубами. Жуют и глотают. Кости сокола трещат.

Сокол съеден, перья летят по степи. Плабюх слизывает кровь птицы с рук брата.

— Сестра, солнце дня родилось. И поднимается к троб. Значит, они в пути.

— Мы успеваем, брат. Я ведаю.

Из своих заспанных трпу достают они одежду свою, сшитую из шкур двух убитых ими баргузинских леопардов. Плотно обтягивает пятнистая шкура их стройные тела.

Сильные, быстрые, подходят они к лошадям своим. Кони из живородящего пластика, чёрные, новые, с мотором сильным от Nissan. В городе у сонных похищены. Быстрые лошади, умные. Вскакивают Хррато и Плабюх на них. Бьют коней пятками в пластиковые бока:

— Айя!

— Айя!

Кони несут по степи Плабюх и Хррато. Морозный звенящий воздух расступается. Ветер февральский поёт в углах луков, торчащих из заплечных трпу, свистит в ушах, поросших белой мелкой шерстью.

Белые брат и сестра спешат, не торопясь. Они уверены, что всё случится вовремя. Как и всё в их жизни.

Они знают свои желания.

Они ведают время событий.

Они умеют убивать сонных *и жестоких.*

Двенадцать лун, как близнецам исполнилось двадцать земных лет. Двадцать лет назад в лесу возле Барабинских болот родила их мать, Цбюххр. После того как обнаружилась её беременность, она была изгнана из страны чернышей. А *это страшнее смерти. Но черныши не знали, что альбиноска Цбюхрр беременна от гладкокожего существа — человека. Великое преступление! Если бы черныши знали это, её привязали бы к гигантской ритуальной махаете, сложенной из многих тысяч деревянных копий орудий власти гладкокожих. И сожгли бы вместе с мохавтой. Из чернышей никто не признался, что был с ней. Да и не было такого черныша. Она тоже не назвала своего бркэ, хотя ей давили горячими камня-*

ми ноги и погружали голову в болотную воду. Старейшинами было решено, что преступник, совершивший фрта с альбиноской, — безумец, рано или поздно сам сознаётся в своём преступлении. Её изгнали, облив нечистотами. Она четыре дня и четыре ночи шла на восход солнца и вскоре в лесу нашла брошенный домик гладкокожих, с иконами бога человеческого и скелетом отшельника. Там Цбюхрр обустроила своё жилище. От человека остались орудия его жизни: топор, лопата, пила, буравы, стамески. Всё — железное, страшное и неприемлемое для чернышей. Первое, что сделала Цбюхрр, — сбила с топорища рубящее железо, закопала в землю. Набрала подходящих камней, раскололa один, обточила и изготовила каменный топор, человеческое топорище используя. Из камней наделала острых ножей. От человека волчья шуба осталась. Из той шубы сделала Цбюхрр детскую колыбель. От человека в домике печь осталась. Но черныши печами не пользуются. И котелками чугунными тоже. Закопала Цбюхрр всё страшное, железное в землю. Только всё деревянное оставила — кадку, ложки, толкушку. Обустроила в домике в углу очаг, разжигала огонь, искры из камней на мох высекая. Наполнила кадку водой, калила в очаге булыжники, клала

в кадку, варила себе броц с корешками, луковицами цветов лесных. Клала в броц и живность, что попадалась: мышей, кротов, ежей, змей. Пару раз убивала камнями зайцев, один раз — белку. Вялила их вкусное мясо на солнце, на зиму припасая. Провела лето, запасшись корешками, грибами, орехами. Собирала ягоды лесные. Пила ключевую воду. Ложилась в траву и слушала детей своих в животе. Сразу поняла она, что будет двойня. Поэтому и колыбель из волчьего меха пошире сделала. Пела детям песни. Лепила из глины лода, расставляла на животе, совершала струб. Готовилась. А в последнем месяце лета, утром ранним родила их. Откусила новорождённым пуповинки, обмыла детей в ручье. Положила их в волчью колыбель. Стала смотреть их. Белые, как и она сама! Брат и сестра. Красивые, мягкие, тёплые. Глаза, каку Цбюхрр, цвета неба ночного. Пока ела плаценту свою, как положено, решала, какие имена новорождённым дать. Она и раньше об этом задумывалась, но не знала, кто родится: две женщины, двое мужчин или вот — мужчина и женщина. У чернышей имена детям полагалось составлять из имён родителей. У Цбюхрр отца звали Охррте, а мать — Дцбюноп. Вот и назвали её Цбюхрр. Никто из них не был альбиносом. И

их родители тоже были рождены нормальными чернышами. А *Цбюхрр уготовано было выродком появиться на свет. В стране чернышей альбиносов не убивали, как слабых или больных. Их оставляли как рабочую скотину: лишние руки всегда нужны. Но выродкам белым потомство запрещено было иметь под страхом изгнания. Закон нри. А это страшнее смерти. Изгнание — это внешний мир, где живут и правят гладкокожие. Мир страшный, непонятный. Железный. И очень злой.*

Съела Цбюхрр свою плаценту вкусную, запила ключевой водой.

И дала детям имена: Хррато и Плабюх. Ибо имя гладкокожего отца их — Платон — она запомнила. На всю жизнь.

И началась жизнь втроём. Счастливая жизнь! Дети росли, сил набираясь. Кормила их Цбюхрр сперва молоком своим, потом варила им густой броц из кореньев, луковиц и вяленого мяса, толкла толкушкой, кормила малышей. Росли они быстро, мать свою радуя. Пролетел первый год, как кулик болотный. Второй — как цапля. Третий — как орёл. За это время совсем освоилась Цбюхрр на новом месте. По ночам на охоту выходила с копьём и топором каменным. И не

было такого дня, чтобы дети её мяса не ели. Кто только не пал от копья и топора Цбюхрр: зайцы, лисы, птицы разные. Однажды напала на кабанов. Кабаниху молодую копьём пронзила, но большой кабан-секач за ней погнался, загнал на дерево. Там и просидела до рассвета. По следу кровавому нашла кабаниху мёртвую, притащила домой. Мясом вкусным запаслась на год: вялила, солила в земле, мочой детской и своей поливая. Салом кабаньим детей натирала, чтобы болезни их сторонились. Необычными росли дети Цбюхрр! Непохожими на детей чернышей: сами белые от шерсти мелкой, но не везде она у них росла — лицо и грудь были почти гладкие, как у людей. Головы, шеи, ушки все белые, в шерсти. Ноги прямые, длинные, а руки короткие. У чернышей всё наоборот — ноги кривые, короткие, а руки длинные. А *глаза у деток — одно загляденье! Осколки неба ночного. Зубы белые, ровные. Как засмеются Хррато и Плабюх — матери радость несказанная! Так бы и смотрела на детей своих. Учила их песням, пословицам. Водила по лесу, всё показывая. Сметливыми дети родились: всё с ходу понимали. Соскоблила Цбюхрр со шкуры кабаньей шерсть да и изготовила детям одежду кожаную, как положено. У чернышей до четырёх*

лет дети без одежды бегают — и летом и зимою. Сделала им маленькие копья с наконечниками каменными. И стали они с матерью на охоту ходить. Стали втроём хозяевами леса своего. И в редкий день пустыми они с охоты возвращались. Росли дети хорошими охотниками. Пролетел и четвёртый год, а за ним и пятый. Дети подросли, макушками своими матери до сосков достав. В шесть лет все дети в стране чернышей становились взрослыми. Их нарекали чкб. Мужчинам в шесть лет полагались не только копьё и нож каменный, но и лук со стрелами. Сделала Цбюхрр лук, как умела, три стрелы с наконечниками каменными и с поклоном Хррато вручила.

И удивилась, как быстро сын её этим луком овладел. И трёх лун не прошло, как мог он уже белку с высокой ели сшибить да и птицу жирную на лету поразить.

Плабюх в охоте не отставала от брата: метала копьё, камни, тащила кротов из их нор, лазила по деревьям, птичьи гнезда разоряя.

Но пришла беда в дом к ним. Однажды ночью зимней, безлунной проснулась Цбюхрр, вышла, чтобы опорожниться. Присела на снегу. И напал на неё сзади медведь-шатун. Не накопил он жиру за лето-осень, да и не смог на зиму заснуть в бер-

логе. Поэтому обречён был до весны в поисках еды шататься. Не почуяла его Цбюхрр спросонья, не увернулась. Схватил он её, навалился. Затрещали её кости под зубами медвежьими. Закричала она, дотянулась из последних сил рукой, вдавила палец в медвежий глаз. Заревел медведь, бросился прочь. Но опомнился и снова на неё кинулся. Но она уже повернулась к нему. И едва он на неё насел, снова пальцы в глаза ему воткнула. Медведь с рёвом прочь бросился.

А Цбюхрр приподнялась, но на снег рухнула: сломал он ей позвоночник, разорвал спину. Боль страшную превозмогая, доползла на руках до крыльца, вползла в дом. Глянула: детки спят на ложе своём. Не стала будить их, лежала на полу в крови до рассвета, молча боль терпя.

Дети проснулись, нашли свою мать на полу лежащей. Увидела она их, красивых, и полились слёзы из её глаз.

— Дети мои, обманул меня зверь. Не жить мне на этом свете.

Дети закричали, к ней припав. Наказала она им дождаться весны и идти на восток, туда, где солнце восходит. И повелела тело своё отнести в лес подальше и положить на дерево упавшее. Два дня и две ночи боролась Цбюхрр за жизнь, а

наутро третьего дня испустила дух свой.

Дети плакали и кричали над матерью своей.

А *потом сделали, как она велела: отнесли её тело в лес, положили на упавшую ель. Дождались весны, взяли лук, топор и копьё матери и двинулись на восток.*

Они шли по лесу шестнадцать дней, ночуя на деревьях. Питались тем, что попадалось: яйцами птичьими, белками да птицами, Хррато подстреленными.

Утром семнадцатого дня они вышли на опушку леса. Привычный им лес кончился. Начиналось поле ровное с молодой зеленью, стройными рядами из земли проросшей. Никогда такого не видели Плабюх и Хррато.

А *на дальнем краю поля стоял деревянный дом, сложенный из огромных брёвен. Длина и толщина брёвен были таковы, что было понятно: не маленькие люди клали двухэтажный сруб. Дом был покрыт еловой дранкой размера соответственно брёвнам — широкой и толстой.*

В доме том уже шестой год проживала необычная пара: большой китаец Ксиобо и маленькая русская Лена. Впрочем, у Лены была ещё и алтайская кровь. И если Ксиобо был настоящим большим (3,40), то жена его была не совсем

маленькой (77). Она была всего на голову ниже Хррато и Плабюх, которые, пройдя в то незабываемое утро вдоль ровного зелёного поля, подошли к огромному дому и встали, оторопев.

Ксиобо и Лена завтракали на террасе дома. Завидя приближающихся детей, они не прекратили свой завтрак, поедая рис с тушёными овощами и запивая зелёным чаем. Они приняли этих детей за обычных нищих-побирушек, которых после Трёхлетней войны много бродило по окрестностям. Но, когда Хррато и Плабюх подошли близко к дому, что позволило их хорошо разглядеть, супруги перестали жевать и пить.

Дети были необычные: в обтягивающей кожаной одежде, которая им была уже маловата, с копьём, луком и каменным топором в руках; головы, руки и низ ног, обтянутых короткими штанами, покрывала белая мелкая шерсть, глаза у них были фиолетовые.

И эти фиолетовые глаза уставились на громадного Ксиобо, восседающего за громадным столом, изготовленным в Алей по заказу и доставленным сюда вместе с остальной мебелью на повозке, запряжённой трёхэтажным битюгом.

Вид Ксиобо потряс близнецов. Они не видели других людей, кроме матери. А таких людей не

видели даже во сне.

— Вы кто? — спросил Ксиобо по-китайски.

Голос его был подобен грому. Дети бросились бежать к лесу.

— Стойте! — крикнула Лена по-русски.

Её голос был похож на верещание подстреленной белки. Дети бежали что было мочи.

Рассмеявшись, Ксиобо засунул два огромных пальца в свой громадный рот и свистнул. Этот мощный свист, не похожий ни на что, не подстегнул детей, как полагалось, а заставил остановиться. Они оглянулись. Ксиобо рассмеялся, поднял длань свою и помахал им.

— Идите к нам! — крикнула Лена по-русски, а потом повторила это же по-алтайски и по-китайски.

Дети стояли, глядя на необычное. Маленькую Лену они не различали. Все внимание их занимал гигант. Ксиобо понял, что напугал их своим видом, поэтому не встал, а взял кружку размером с ведро и отхлебнул из неё.

Близнецы стояли, раскрыв рты.

Лена спустилась с террасы и пошла к ним. Они заметили её. Рост Лены не внушал им опасений. Подойдя, она заговорила с ними по-алтайски, потом по-русски и по-китайски. На этих трёх

языках Лена и Ксиобо общались между собой. Дети знали только язык чернышей.

Вид беленьких близнецов удивил и развеселил Лену.

Она ещё не встречала таких людей.

— Вы кто? — повторила она с усмешкой вопрос Ксиобо.

Дети молчали, глядя на маленькую женщину. На ней была необычная одежда.

— Я — Лена, — произнесла она, кладя себе ладонь на грудь.

Близнецы молчали.

— Я Лена, — повторила она и рассмеялась.

Она вообще смеялась и хохотала часто и по любому поводу.

— Лена, — повторила она, шлёпнув себя по груди.

Шагнула ближе и положила ладонь на кожаную грудь Хррато:

— Ты кто?

Хррато молчал.

Лена заметила, что уши и шеи у детей тоже в мелкой белой шерсти. Она положила ладонь на грудь другого ребёнка.

— Плабюх, — вдруг произнесла та.

— Плабюх?

— А ты? — Лена снова положила руку на грудь мальчика.

— Хррато, — ответил тот, подумав.

— Хррато! Прекрасно! Плабюх, Хррато! Лена! Дети повторили свои имена.

— Вот и познакомились, ебёна мать! — рассмеялась Лена своим верещащим голоском.

Она была виртуозной матерщинницей и сыпала русским матом походя, как горохом, даже когда говорила по-китайски и по-алтайски. Близнецы ели её глазами. Помимо льняного платья, на ней были разноцветные бусы, серебряное индийское шейное ожерелье, иранские серьги с бирюзой, браслеты на руках, золотые кольца.

— Кто они? — спросил Ксиобо с террасы.

— Не знаю! — заверещала она в ответ. — Непонятные имена! Парень, девка! Близнецы! Смешные!

— Казахи?

— Нет!

— С юга?

— Хер их знает! Альбиносы! Красивые! — Она шлёпнула Хррато по груди.

— Пусть подойдут.

Лена взяла детей за плечи, кивнула в сторону дома своей маленькой головой, оплетённой двумя

чёрными косами:

— Пойдёмте, альбиносики!

Дети стояли, разглядывая её украшения.

— Пойдёмте же, засранцы фиолетоглазые! — Лена подтолкнула их.

Дети не шли.

— Там огромный, — сказал Хррато Плабюх. — Вдруг он нас съест?

Плабюх молчала. Гигант Ксиобо сидел, прихлёбывая из своей чаши.

— Он её не съел? — спросила недоверчиво Плабюх.

— Да что же это за язык, ебать вас орлом?! — Лена шлёпнула руками себя по бёдрам.

Этот жест, который часто делала умершая мать, успокоил Плабюх.

— Пошли, пошли! — Лена снова подтолкнула их.

— Она зовёт, — сказала Плабюх. — Но тот очень большой.

— А она маленькая, — сказал Хррато. — Меньше нас. И он её не съел.

Это слегка успокоило Плабюх.

— Пойдём? — спросила она.

— Пойдём, — ответил Хррато.

— А если он захочет нас съесть?

— Тогда я проткну ему глотку.
Он сжал копьё.
Трое пошли к дому…

— У меня очередь. — Подошедшая официантка прервала чтение.

— Понял. — Старик закрыл книжку, полез в карман, достал два юаня.

— Хватит одного.

— Благодарствуйте! — Он отдал юань официантке, развёл большими руками перед Алей. — Люди не только книжками питаются, ничего не поделаешь!

Официантка коснулась пульта, книжка “Белые дети” на пружине взвилась вверх и пристала к потолку.

— Пошли деньги зарабатывать на твой билет! — Инвалид слез со стула, завозился внизу, угрожающе сотрясая весь стол, и вскоре уже ехал по проходу, отталкиваясь утюгами.

Аля встала и пошла за ним.

Когда инвалид вкатился в тёмный тамбур, за которым были ещё два вагона третьего класса, он повернул своё массивное лицо к Але:

— Вот что, есть одна идейка. Раздевайся!

— Как? — не поняла Аля.

— Догола!

— Зачем?

— Устроим с тобой маленький цирк. Не бойся, тебя никто не тронет.

— Зачем?

— Не “зачем”, а раздевайся! — Он настойчиво тряхнул бородой. — Хочешь, чтобы на бролет… то есть на билет подали?

— Хочу, дедушко.

— Тогда раздевайся! А то ссадят тебя в Цитайхэ. Живо!

В холодном тамбуре Аля сняла куртку, стянула свитер, джинсы. Старик забрал у неё одежду.

— Сапоги, трусы, тамайку… то есть майку, всё давай!

Аля сняла с себя всё, что было, отдала инвалиду и встала босыми ступнями на рифлёный, заиндевелый пол тамбура. Она была прекрасно и уж совсем не по-детски сложена — стройная, юная, с маленькой девичьей грудью. На лобке у неё росли тёмные волосы. Как и лицо, её девичье тело было совершенным. Только ступни и кисти рук были совсем не как у девочки, а женские, взрослые. Старик засунул одежду Али в мешок, положил себе под живот.

— А теперь — садись мне на плечи.

Аля полезла по инвалиду, как по ватной горе,

пахнущей бездомным инвалидом. Села ему на плечи, опершись коленями:

— Так?

— Да не так!

Он схватил её за ноги, помог. Она села, обхватив ногами его шею.

— Вот так! А теперь — вперёд!

Он оттолкнулся утюгами от пола и въехал в вагон. За окнами уже возникли зимние сумерки, и в вагонах поезда зажгли свет. Неспешно покатив по проходу, старик почти нараспев заговорил своим зычным голосом:

— Любовь людьми правит! Любить — не мёд водой разводить! Люби, Ваня, пока поджечь хочется! Красивая девка — для любви припевка! За хорошую любовь и убить не жалко! Вера горами двигает, а любовь — людьми!

Те пассажиры, что не спали, с интересом уставились на необычную пару. Раздались смешки и одобрительные восклицания. Инвалид сбавил ход. Народ оживился:

— Во чудилы!

— Эт что, внучка твоя?

— Погоди, дай разглядеть!

— Красавица, ты откуда и куда?

— Сяоцзе[9], а ты даёшь? Почём?

К Але потянулись руки, стали трогать и щипать.

Инвалид остановился и возопил громогласно:

— Покажи, дочка, добрым людям крану… то есть рану свою боевую!

Аля подняла руку с отсечённым пальцем вверх.

— В Ши-Хо зацепили её! Зверски пытали её! Невинной она оказалась! А рана навеки осталась! Билет до Хызыл Чар ей нужен! Подайте те, кто с милосердьем дружен!

Он протянул свою шапку.

В шапку стали бросать мелочь.

— Девк, они тебя голой выпустили?

— Изверги, бля…

— Насильничали, поди?

Инвалид объяснил нараспев, гневно тряся белой бородищей:

— Вышвырнули голой и голодной! Отсекли ей бальчик… то есть пальчик подлецы! Ни отца у ней, ни мамы родной! Нарожали извергов отцы!

Женщина набросила на плечи Али старый рваный платок:

---

[9] Примечания: 9
Девушка *(кит.).*

— Прикрой срам, дочка.

— Да они так работают, на жалость давят! — раздался насмешливый голос.

— Конечно…

— Не пизди, муддо! Это бластер, походу видно!

Парень подошёл, взял Алину покалеченную руку, глянул на срез, понюхал:

— Точняк, бластер! Так что заткнись!

— Сволочи, что делают, а?!

— Это нормально. Допрос есть допрос.

— Тамен зонг ши жеян джян![10]

— Ши-Хо ёбаное…

Инвалид негодующе затряс бородой:

— Правду под лавку не запихнёшь, в таракан, в чемодан не спрячешь! Правда глаза ест, кривдой закусывает! Правдой добрый человек хворается, питается, а неправдой испражняется!

В конце вагона пьяный мужик стал целовать Але сперва руку, потом перешёл на плечи и спину. Друзья его с хохотом оттянули.

— Красавица! — выкрикивал пьяный.

В тамбуре инвалид подсчитал подаяние:

— Восемнадцать таньга, то есть юаней. Мы на верном пути, дочка!

---

[10] Примечания: 10

Они всегда так режут! *(кит.)*

В следующем вагоне третьего класса, где пьяных оказалось ещё больше, желающих поцеловать и потрогать Алю выросло. Её тискали, целовали руки и ноги, жены оттаскивали от неё мужей, сыпались ругательства. Кто-то дал ей огромные зимние женские трусы с начёсом.

Но подали меньше.

— Для билета твоего не хватает восьми юаней, — подсчитал мелочь инвалид.

За тамбуром начинался второй класс. Едва старик двинулся туда сквозь раскрывшиеся двери, как перед ним возник рядовой войск ЖД УР с автоматом:

— Куда прёшь?

— Прём просить Христа ради условие… то есть милостыню юной жертве произвола дознавателей! — ответил инвалид. — Пропусти нас, служивый, в долгу не останемся.

— Не положено! — Солдат с усмешкой оглядел голую Алю, сидящую на шее старика.

Инвалид протянул ему три юаня:

— Воин, мы по вагону и назад. Кабанчиком метнёмся туда-сюда, врачальство, начальство не заметит, у тебя авторитета не убудет!

Солдат задумался ненадолго. Потом быстро взял монеты, сунул в карман:

— Только быстро. И дальше не соваться, понял?

— Есть, господин рядовой! — отдал честь инвалид.

Солдат посторонился, пропуская их. Ущипнул Алю за сосок:

— А что, голым теперь больше подают?

Они въехали в вагон второго класса. Здесь было чисто, в открытых купе на мягких нижних и верхних полках сидели и спали пассажиры. Инвалид забасил про любовь, красоту и невинных жертв произвола. Пассажиры посмеивались, но подали только три юаня. И один лейтенант войск радиационной защиты пошёл следом и зашептал Але в ухо “деловое предложение”. Она отрицательно замотала головой.

Нарушив договор с солдатом, инвалид поехал и в следующий вагон. Там тоже был второй класс. И тоже подали три юаня.

— Скупердяи! Мородяи! — тряс бородой старик.

И поехал ещё дальше. Ещё один второй класс. И всего два юаня!

— Ну, сволочи зажравшиеся! — в сердцах воскликнул инвалид и, грозно отталкиваясь утюгами от чистого пола, покатил к первому классу.

Но в тамбуре, разделяющем второй и первый, стояло уже два воина с автоматами. Едва коляска въехала в чистый, хорошо освещённый тамбур, солдаты направили на деда с Алей своё оружие:

— Стоять!

Утюги упёрлись в пол.

— Господа воины Уральской Республики, не загораживайте борта, то есть рта у вола молотящего! — обратился к ним инвалид. — Не хватает всего два юаня на билет для жертвы произвола драконов из Ши-Хо!

Аля показала свой обрубок.

— Назад! — приказал солдат.

— До трёх считаем! — добавил второй.

Лазерный луч автоматного прицела упёрся в лицевую опухоль инвалида, подсветив её багрово-розовые прожилки.

— Но, парни, послушайте, добро ведь каплей прольётся, стаканом, океаном водки вернётся… — начал было старик, умоляюще разведя руками.

В это время медового цвета дверь туалета бесшумно отъехала и из него вышла дама в шикарном белом брючном матросском костюме с длинным белым мундштуком в руке. Глянув из-за спин охраны на старика и Алю, она остановилась.

— Какая прелесть! — произнесла она.

Холёная рука её коснулась плеча солдата:

— Служивый!

Солдат посторонился, не снимая с прицела опухоль старика. Дама шлёпнула по плечу другого воина. Тот тоже посторонился. Дама вошла в тамбур и приблизилась к въехавшим. Мгновенье она удивлённо разглядывала необычную человеческую конструкцию — голую красивую девочку, сидящую на плечах белобородого инвалида с чудовищной опухолью на лице.

— Откуда ты, дитя древних мифов? — спросила дама Алю.

Вместо ответа та показала ей обрубок пальца.

— Ши-Хо! — ответил за Алю инвалид. — На балет, на колет, на… билет до Красноярска собираем.

— Боже мой! — по высокомерно-привлекательному, холёному лицу дамы пробежала лёгкая тень сочувствия.

Сунув мундштук с сигаретой в зубы, она взяла Алю под мышки, сняла с плеч инвалида и поставила на пол.

— Бедное дитя!

Руки женщины коснулись Алиных щёк.

— Как ты прекрасна! Ты же совсем озябла.

— Без одежды выгнали! Подайте сколько можно! — пробасил инвалид.

Вместо ответа дама легко взяла Алю на руки, повернулась и понесла по проходу, устеленному абрикосового цвета ковром.

— Дедушко… — произнесла Аля.

— Он твой дед? — остановилась дама.

— Нет. Он прост дедушко. Доброй.

— Добро — это хорошо, — произнесла дама, продолжая движение. — Но мир держится на красоте.

— Так у меня же её это… как это… братье… платье… — начал было инвалид, зашарив в мешке.

Но солдат толкнул его автоматом в ватную грудь:

— Поворачивай!

— Но это же её одежда… надежда…

— Назад, сказал! Живо!

— Ладно, что ж…

Сокрушённо тряхнув бородой, инвалид развернулся и укатил из тамбура.

Дама донесла Алю до купе № 8, стукнула в дверь лакированным белым ботинком на серебристой платформе. Дверь открыли. В уютном двухместном купе находился один человек — невысокий мужчина лет тридцати, одетый в зелёный китай-

ский халат, со смуглым живым лицом, орлиным носом и тонкой полоской усов над мужественным ртом.

— Mon cher, j'ai un cadeau pour toi![11] — произнесла дама чуть нараспев.

Тонкие брови мужчины слегка поднялись, он отступил назад.

Дама вошла и поставила Алю на мягкий розоватый диван. Мужчина закрыл дверь и с удивлённым восхищением стал смотреть на голую девочку.

— Ma chere… j'ai pas de mots…[12]

— И не надо! — продолжила дама по-русски, затянулась и, взяв мундштук в руку, выпустила дым тонкой струйкой.

— Как зовут тебя, прелестница? — спросил мужчина.

— Аля, — ответила девочка.

— Её пытали в Ши-Хо. — Дама взяла Алину руку и показала мужчине обрубок пальца.

— O, mon Dieu! — покачал мужчина своей черноволосой аккуратной головой. Его волосы были красиво подстрижены и густо напомажены.

---

[11] Примечания: 11
Дорогой, у меня для тебя подарок! *(франц.)*

[12] Примечания: 12
Милая… у меня нет слов… *(франц.)*

— Тебе больно?

— Немног.

— Ей прежде всего холодно!

Дама постучала в стену. Дверь быстро, без стука, открыли, и в купе вошла китаянка в светлом брючном костюме.

— Тьян, принеси девочке халат.

Китаянка вышла и скоро вернулась с халатом серебристого шёлка с цветами кувшинок. Дама одела Алю. Халат был ей велик.

— Садись, милая, садись.

Аля села на диван.

Дама села рядом, мужчина — напротив.

— Тебе пришлось пострадать. — Дама обняла Алю и поцеловала в голову. — Такие нынче времена, увы.

— Твоя семья была в Ши-Хо? — спросил мужчина.

— Нет, — ответила Аля.

— Слава Богу! — перекрестилась дама.

— Как твоё имя? — спросил мужчина.

— Аля.

— Аля! — повторил он и покачал головой. — Звучит как утреннее лопанье цветка лотоса.

— Аля, — повторила дама. — Прекрасное имя! Ты голодна?

— Нет.

— Слава Богу! Милая Аля, здесь, с нами ты в полной безопасности.

— Мне нужно Красноярске. У меня нет билето. Проси деньги на билето, почти собрало, но тот де-душко, ну, безногой, его сюда не пустить, а деньги и мой одеждо у негой…

— Ты доедешь до Хызыл Чара, не беспокойся, — уверенно произнёс мужчина.

— И об одежде не беспокойся. — Дама загасила окурок сигареты в пепельнице.

Мужчина достал из кармана халата маленький газовый баллончик с прозрачной мягкой полумаской. Приложил полумаску ко рту и носу, пустил газ и глубоко вдохнул. Отдал баллончик даме. Та проделала то же самое. Мужчина забрал у неё баллончик и сунул в карман. Некоторое время они сидели молча, глядя на Алю. Аля тоже молчала.

Мужчина пересел на диван рядом с Алей, взял её покалеченную руку и уставился на обрубок пальца.

— Срез, — заговорил он. — Срез пласта. Древняя порода, память человечества. Доисторические отложения. Спрессованные и окаменевшие тела исполинских животных, ставших камнями. Са-

моцветами! В каждом самоцвете поёт история, звучит время. А что такое время? Есть ли оно?

— И что такое время по сравнению с вечной нежностью? — спросила дама, беря другую руку Али. — Ты знаешь, что такое вечная нежность?

Аля посмотрела в приблизившееся лицо женщины. Оно было властным и строго-красивым.

— Нежное? — спросила Аля.

— Да, нежное. О, какие у тебя красивые глаза! Ты знаешь, что такое нежное?

— Да.

— Чудесно, дорогая! Нежное, нежные! Просто нежность? Ах, просто нежность!

Женщина нервно рассмеялась, губы её задрожали.

— Есть просто нежность, нежность человеческая, нежность луговых трав, нежность ветра, нежность морских волн, — продолжил мужчина. — А есть вечная нежность.

— Вечная нежность! — повторила женщина.

Ноздри её затрепетали, губы задрожали, словно она собралась разрыдаться.

— Мы подарим тебе вечную нежность, прекрасное дитя! — произнесла она и припала губами к ладошке Али.

Мужчина впился своими губами в другую ладо-

шку. Пока их тубы целовали Алины ладони, руки их стали раздевать её. Это заняло мгновенье. Вскоре она уже без халата сидела между ними. Мужчина стал покрывать поцелуями её плечи, а женщина — щёки, глаза, губы. Их поцелуи становились всё горячее, губы мужчины добрались до мочек ушей Али, а женщины — до её юных сосков. Аля стала ёжиться, вздрагивать, поводя плечами. Их поцелуи пошли волнами по её гибкому девичьему телу. Вскоре ей развели ноги, целуя живот, колени и бёдра.

— На… но… я… — застонала Аля, пытаясь освободиться.

Но их руки крепко держали её.

— Ты девственница! — с восторженной дрожью в голосе выдохнула женщина, разводя пальцами половые губы Али. — Причём ты же… elle n'est plus une fille![13] У неё всё уже взрослое! Её пусси взрослая, а? И в тебя ещё не входил жезл мужской страсти? Как так?

— Мне… это… не над…

— Ты бережёшь свою девственность?

— На… я… не над… — бормотала Аля, извиваясь в их настойчивых руках.

---

[13] Примечания: 13
Она не девочка! *(франц.)*

— Не противься вечной нежности, — горячо зашептала женщина в Алино ухо.

— Я… я… не нужной это… — Аля продолжала сопротивляться.

— Не противься, малышка.

— На… не надой… — Аля вывернулась с силой.

— Mon Dieu! Она такая сильная! — Мужчина схватил Алю за запястье.

Она легко вырвалась.

Они отпрянули. Голая, освободившаяся от объятий она сидела между ними.

Женщина дала ей пощёчину.

— Ты хочешь доехать до Красноярска? — прошипела она, зло прищурив глаза.

Аля замерла.

Женщина снова ударила её по щеке.

— Хочешь?

— Хоче, — пробормотала Аля.

— А если — хоче, тогда доставь нам удовольствие, — с улыбкой произнёс мужчина. — Если ты бережёшь свою невинность, мы её не нарушим. Relax!

— И не кочевряжься, — добавила женщина, кладя руку на Алин лобок. — Ты красива, мы — тоже. А красивые должны наслаждаться друг другом. Ты поняла?

— Ты поняла, прелестная Аля? — Мужчина нежно сжал её грудь.

— Я поня, — пробормотала Аля.

— Tresbien.

Они сбросили свои одежды, оплели тело Али руками, припали губами к её соскам, губам, мочкам ушей. Аля ёжилась, но терпела. Вскоре мужчина стал лизать её анус. Его напрягшийся член женщина направила Але в ухо. Мужчина быстро кончил с вскриками и стонами, затопив спермой Алино ухо. Но не перестал ласкать её анус. Сося Алины половые губы, женщина оттопырила свой зад. Мужчина вставил свой по-прежнему напряжённый член ей в анус. Женщина застонала. Её рука дотянулась до стенки, постучала. В купе вошла Тьян. Абсолютно не удивившись происходящему, она разделась. Её худощавое тело с двумя маленькими, налитыми грудями внизу было украшено небольшим, тонким, всегда стоящим членом без яичек. Приблизившись сзади к своему господину, Тьян вставила своей член ему в анус. Мужчина одобрительно застонал, продолжая содомировать женщину. Он снова кончил и, схватив маску с баллончиком, пустил газ и два раза жадно вдохнул. Тьян в это время содомировала его. Стоная и всхлипывая, женщина стала цело-

вать и обсасывать лицо Али. Мужчина раздвинул Алины ягодицы, Тьян стала помогать ему войти в её анус, но Аля вывернулась и произнесла:

— Я лучша отсасо тебя.

И сама взяла его член рукой, направила в раскрасневшиеся губы и стала сосать. Женщина подставила Тьян свой зад. Та вошла в неё. Мужчина стал мастурбировать женщину, и она быстро кончила, протяжно завывая. Мужчина кончил Але в рот, она проглотила его сперму, сильно задышав носом. Затем женщина попользовалась маской и взяла в рот член Тьян. Та же, изогнувшись, припала губами к лобку госпожи. Мужчина стал сосать Алин анус. Женщина схватила покалеченную руку Али и вставила обрубок её пальца себе во влагалище.

Оргия продолжалась больше часа. Мужчина и женщина ещё четыре раза использовали маски. Когда их силы окончательно иссякли, они бессильно раскинулись на диванах. Женщина положила Алю на себя. Тьян оделась.

— Коньяку, — потребовал мужчина.

— А мне моего, — томно произнесла женщина, по-сестрински обнимая Алю.

Тьян стала готовить им напитки.

— Что хочешь выпить, дитя Транссиба? — спро-

сила женщина.

— Водка.

Тьян налила Але водки. Они стали выпивать. Тьян удалилась.

Поезд сбавил ход, затормозил и остановился. Женщина протянула ногу с разноцветными ногтями и постучала пяткой в стенку. Вошла Тьян.

— Закажи нам три чая и пирожных, — приказала женщина.

Тьян вышла. Паровоз, постояв, дал свисток и тронулся. Женщина вставила сигарету в свой белый мундштук и закурила.

— Аля, кто тебя научил так чудесно исполнять blow up? — спросил мужчина, закуривая тонкую сигару.

— Никта, — ответила Аля, лёжа на женщине.

— Это имя?

— Нет, никта.

— Но ты же профи, милая!

— Она самородок. — Женщина впустила дым в Алину подмышку с чёрными волосиками.

— Cherie, не обижайся, но наша пленница делает это не хуже тебя.

— Merci, mon cher! — Женщина засмеялась, заставив тело Али колыхнуться.

— Ma parole, дорогая, девочка оч-ч-ень знает

толк в этом деле.

— По-моему, она вообще толковая. Ты толковая? — Женщина лизнула Алино плечо.

Аля молчала, лежа на ней.

— Почему ты так странно говоришь?

— Я ауто.

— Я так и думал. — Мужчина выпустил три кольца дыма.

— Ей это идёт.

— Да. Это увеличивает её L-гармонию.

Через некоторое время вошла Тьян с подносом, поставила на столик три стакана чая в старомодных мельхиоровых подстаканниках и тарелку с пирожными. Мужчина одобрительно шлёпнул Тьян по заду. Улыбка слегка тронула её широкоскулое лицо с маленьким подбородком. Она удалилась.

— Чайку-с! — Мужчина облачился в халат, присел к столику, взял стакан и отхлебнул.

Женщины продолжали лежать.

— Хочешь чаю? — спросила женщина Алю.

— Не. — Аля лежала, прижавшись щекой к её груди.

После секса и водки щёки её порозовели, губы налились кровью.

— Почему — нет?

— Не хоч.

— А что ты хоч?

Подумав, Аля произнесла:

— Книжку читато.

— Книжку почитать? — удивлённо подняла брови женщина.

— Интеллектуалка! — рассмеялся мужчина. — Книжки читает!

— И какую книжку хочешь?

— Ну… тамо… в столово. Висит на потолоко. Пружинка.

— Что за книга?

Аля старательно выговорила название:

— “Белые близнецы”.

Женщина стукнула пяткой в стенку. Вошла Тьян.

— Ступай в столовку, там, в конце поезда у них которая, закажи книгу почитать. Название… как?

— “Белые близнецы”, — сказала Аля.

— Ещё раз?

— “Белые близнецы”.

— Ясно! — Женщина со смешком шлёпнула Алю по попе. — Тьян, ты поняла название книги?

— Да.

— Тогда иди и принеси её.

— Хао.

Тьян вышла.

— Я чаю хочу! — властно произнесла женщина и, свалив Алю с себя к стенке, села, оделась.

Они с мужчиной стали пить чай с пирожными.

— На! — Женщина бросила Але пирожное.

Та поймала и быстро съела. Мужчина перелил свой оставшийся коньяк в чай, сдвинул оконную шторку. За окном мелькал вечерний зимний лес.

— Значит, Хызыл Чар, — задумчиво произнёс мужчина и потрогал свои тонкие, аккуратно подстриженные усы. — А мы едем ещё дальше.

— Кудо? — Аля облизала пальцы.

— Новосибирск.

— А вы кыто?

— Pardon, я не представился. Граф Евгений Данилович Сугробов. Это моя жена, графиня Серафима Карловна Сугробова, урождённая баронесса фон Вольфбург.

В купе вошла Тьян и протянула графине книжку.

— “Белые близнецы”, — прочитала та название.

И бросила книгу Але:

— Получай, что просила.

Аля взяла книгу, села на диване.

— Я читато не умете по-русский.

— Не умеешь?

— А откуда знаешь?

— Слышала о ней?

— Тебе читали эту книгу?

— Да.

— Кто.

— Тото дедушко.

— Ах, вот что…

— Тебе понравилась эта книга? — спросил граф, помешивая ложечкой чай в стакане.

— Да. Толико начал.

— И где остановился? Помнишь?

Аля полуприкрыла глаза, подумала:

— Троя пошла кы дом.

— Троя?

— Троя. — Аля показала три пальца.

— Ах, трое. Трое пошли к дому? — переспросил граф.

— Да.

Полистав книгу, он нашёл это место, включил ночную лампу на простенке возле себя и начал читать вслух:

По деревянным ступеням взошли на террасу.

Лена хлопнула в ладоши:

— Принесло попутным ветром, ядрён-матрён!

Ксиобо поставил свою кружку и навёл на детей узкие, но огромные глаза.

— Откуда вы? — снова спросил он по-китайски.

Близнецы молчали.

— Ни хера не понимают! — Лена расхохоталась. — Вон, посмотри, какие у них херовины! На мамонтов охотились, а? Пиздец под тёртым хреном!

Она ткнула пальцем в каменный топор, который держала Плабюх.

— И сами шерстяные! — Она положила руку на голову Хррато, но тот отшатнулся.

— Не бойся, дурачок! — Она погладила его по плечу. — Вас тут никто не тронет. Дорогой, похоже, они совсем дикие! Из леса, мать их сухой пиздой об стену! Вы из леса?

Она показала на лес. Дети стояли, не понимая.

— Если бы шерсть была чёрной, они были бы чернышами, — произнёс Ксиобо.

Голос его завораживал детей. От Ксиобо исходило грозное спокойствие.

— Это те, которые на болотах живут?

— Да.

— А, слыхала! Дикари лохматые! Их все время

ядеркой бомбят, да?

— Да.

— А им похуй?

— Да. Очень живучие.

— Ну, так эти-то не чёрные, а?

— Эти не чёрные, — кивнул огромной головой Ксиобо.

— Дай ведь морды у них не шерстяные, ёптеть!

— Морды не шерстяные, — согласился Ксиобо и, подумав, добавил: — Люди.

— Люди, а как же! — засмеялась Лена.

— Сейчас много разных необычных людей.

— Они не побирушки. Ни хера ничего не просят.

— Они не побирушки.

— Вишь, стоят.

— Стоят.

Лена смеялась, глядя на детей с их оружием в руках.

— Предложи им поесть, — сказал Ксиобо.

Лена достала из своего шкафчика две чаши человеческого размера, наложила в них из большой бадьи варёного риса с тушёными овощами, поставила на край стола и положила две ложки.

— Ешьте! — Она сделала пригласительно-смешной жест руками.

Близнецы посмотрели на чаши.

— Ешьте, ешьте! — Она подтолкнула детей к столу. Дети переглянулись.

— Еда! — Лена показала на чаши и смешно изобразила поедание. — Ну ешьте же, мать вашу!

Дети уставились на необычную еду. Лена снова подтолкнула их. Они подошли к столу, взяли ложки, не выпуская из рук своё оружие. И попробовали еду. Еда была очень необычной. И пахла необычно. Но было ясно, что это еда. Которую недавно ели эта маленькая верещащая, как белка, женщина и сидящий за столом гигант.

Плабюх и Хррато стали осторожно есть, стоя у стола.

Так началась их жизнь у Ксиобо и Лены.

В то солнечное весеннее утро большой и маленькая приютили Плабюх и Хррато. Почему? Зачем? Никто из супругов не пытался это объяснить друг другу. Словно так и полагалось. Близнецы тоже не понимали, почему они остались в этом огромном доме. Наверно, потому что не знали, куда идти дальше. Можно было убежать после завтрака. Но они не побежали. Вид гиганта Ксиобо перестал их пугать. Наоборот — в его спокойствии возникла какая-то притягательная сила, словно они попали в зону притяжения. И в этой зоне было спокойно, как в лесу.

Ксиобо и Лена решили жить вместе четыре года назад, когда гигант, хорошо заработав в Бийске на рытье братских могил, решил разгуляться. Выпив три ведёрных стакана гаоляновой водки и натрескавшись свинины с лапшой, он направился в местный публичный дом, где, судя по рекламе, работали две большие женщины. Но не повезло: одна из женщин оказалась больной коровьим гриппом, другую увели в баню демобилизованные алтайцы. Ксиобо хотел было по пьяни (трезвый он был само спокойствие) проломить кулаком что-нибудь в поганом борделе, но его остановила матерной тирадой крохотная проститутка:

— Что ж ты буром прёшь, коли не ебёшъ? Будь благородный ван, не ссы на диван, не перди в окно, не ешь говно, не качай права, не жуй дрова, не маши елдой, не будь мордвой! Радость не в невъебенной пизде, а в нежной и сладкой узде, отведаешь моего тьян де, забудешь о большой пизде!

Проститутка была ему по колено. Голая, с крохотными сиськами и стройными ножками. На её плечах сияла накидка из живородящей бижутерии. Бандерша борделя рассыпалась в извинениях и обещаниях:

— Господин, эта девочка такая умелая, что сделает вас навек счастливым, не хуже большой!

— Как? — усмехнулся хмельной Ксиобо.

— Она вам всё покажет и объяснит. Не пожалеете!

Вскоре Ксиобо лежал навзничь на огромной кровати, а Лена, обняв его могучий фаллос ногами и руками, тёрлась о него грудью и животом. Она словно каталась на фаллосе. И делала это весьма умело. Так умело, что Ксиобо трижды извергал вверх фонтаны густой и тяжело падающей вокруг спермы.

Ему понравилась эта скачка. Даже — очень понравилась. С большими женщинами всё было по-другому и как-то… обычно.

Проспавшись, он повторил. Показатель энергии ци, висящий в каждой спальне борделя, зашкалил. Глядя на показатель, сметливая бандерша предложила Ксиобо бизнес: иметь Лену раз в неделю бесплатно. Она решила поставить накопитель частиц ци, делать карты и торговать этими ци-картами. Их охотно покупали вдовы. Да и не только вдовы, но и старики со старухами. Хитрая Лена тоже быстро смекнула: дело пахнет хорошей прибылью. И может помочь ей выбраться из борделя. Ни с одним большим клиентом так не зашкаливало, как с этим увальнем Ксиобо. *Он согласился на предложение бандерши. И на*

втором свидании Лена провела с ним вразумительную беседу, нашептав в огромное ухо свой план: бежать из борделя, поселиться подальше от города и открыть свой бизнес по производству ци-карт. Выкупить Лену Ксиобо не смог бы, да и бандерша её бы не отдала. После третьего свидания они бежали — Лена в кармане у Ксиобо. Купили подержанный накопитель. За пару недель зарядили 22 ци-карты. Лена удачно продала их на рынке. Они поняли, что бизнес получается. Взяли кредит в банке. А *потом с двумя братьями Ксиобо поставил дом на арендованном в кредит участке земли.*

Так и началось. Лена скакала на фаллосе Ксиобо каждый день. Ци-карты получались крутые: 89 %. Перекупщики стали их брать оптом по 25 юаней за карту. В месяц у них выходило 700 юаней. Ксиобо смог забыть свою тяжёлую работу землекопа и грузчика. А Лена — бордельные дни и ночи. Они расцвели и расслабились: сыграли свадьбу в ресторане "Три лотоса", накупили себе хорошей одежды. Через пару лет Лена и Ксиобо стали зажиточными: еду им привозили домой с рынка, арендованную землю возделывал алтаец, за свиньями ухаживал русский, в доме убиралась китаянка.

Хррато и Плабюх вошли в их семью как-то легко. Даже слишком легко. Словно эти необычные люди ждали таких необычных детей. И дождались. Возможно, это было связано и с неспособностью Лены забеременеть от Ксиобо. Как глубоко она ни запихивала себе во влагалище сперму гиганта, как ни ходила по врачам и ворожеям — ничего не получалось. *Хотя общеизвестно, что маленькие женщины беременели от больших мужчин. И дети рождались вполне здоровыми,* разными *по росту и уму…*

Приблуды неожиданно быстро привыкли к жизни у маленькой и большого. Они с младенчества осваивали всё в этом мире довольно быстро. Быстро перестали пугаться Ксиобо, быстро привыкли к хохоту и шуткам Лены. Если муж был спокоен и молчалив, как гора, то жена была яркой противоположностью супруга: её беличий голосок верещал не умолкая, она и носилась по дому, как белка. Лена любила наряжаться, петь свои матерные прибаутки, танцевать. Ещё она рисовала акварелью необычных, ею придуманных зверей. И развешивала их по всему дому.

Вообще в этом доме было просторно и весело.

Детям отвели комнату. Их помыли в бане. Переодели в нормальную одежду. Приучили к

человеческой пище. Стали походя учить трём языкам — китайскому, русскому и алтайскому. Единственное, чего не смогли понять опекуны, — языка, на котором общались дети. Попытки идентифицировать их речь ничего не дали: никто в мире не знал языка чернышей.

Плабюх и Хррато приняли произошедшую перемену как данность. Они просто вошли в этот дом, как в другой лес, где обитали эти двое. В новой жизни их удивляло одно: отсутствие охоты для добывания пищи. Эта пища появлялась у этих людей как бы сама собой. В этом была загадка, которую близнецы не могли разгадать. Но вскоре они привыкли, забыв и про эту загадку.

Не прошло и недели, как Ксиобо посадил детей и Лену в заплечную корзину и зашагал на ярмарку. Вид ярмарочной толпы потряс близнецов. Они никогда не видели такого множества и разнообразия людей. Там были обычные люди, маленькие и парочка больших, по-своему приветствующих Ксиобо: двумя поднятыми указательными пальцами. Обычные и живые игрушки, фокусники и жонглёры, маленькие лошади, квадратные поросята— это всё было такое громкое, разноцветное и подвижное, что заставило их оцепенеть с открытым ртом.

Но, когда оцепенение прошло, пришло новое потрясение: дети увидели, что на ярмарке продаётся множество железного инструмента: пил, лопат, кувалд, ломов, ножей и... топоров! Они помнили рассказ матери, как она сбила камнем железный топор с топорища и закопала его в землю. А *тут лежали десятки топоров! И никто их не боялся. На языке чернышей было одно слово, обозначающее железный инструмент людей, — грбо. Это страшное слово. Грбо надо было закапывать в землю или топить в болоте. Всё оружие, все инструменты должны быть только каменными или деревянными.*

Как зачарованные, близнецы подошли к столу с инструментами. Топоры лежали отдельным рядом — разные по размеру и форме. Хррато протянул руку и коснулся топора.

— Грбо, — произнёс он.

Плабюх тоже было протянула руку, но опустила её.

— Чё, малой, топорик приглянулся? — подмигнул ему бородатый русский продавец. — Бери за полтинник!

— Твой топор больно остёр, — заверещала Лена. — Детке ума не вставит, а страдать заставит: палец отлетит, кровь заблестит.

— Так не будь дурак, не руби пальца! — усмехнулся продавец.

— Борода твоя густа, да башка пуста — вышел топорами торговать, да стал мозги в бинхъянге забывать, вернись за мозгом, не будь мудаком!

— Да пошла ты на хер, язва! — рассмеялся продавец.

— Яна хер пойду, тебя там не найду, ты ж ступай во пизду, лови морскую звезду, повесь над столом да щёлкай еблом!

Продавец не нашёлся, что ответить острой на язык Лене.

На ярмарке близнецам накупили разных игрушек — скачущих, говорящих, ползающих и стреляющих. Плабюх и Хррато непрерывно занимались этими игрушками двое суток (Лена заметила, что эти беленькие *вообще мало спят и укладывать их в постель насильно бесполезно), а потом игрушки им наскучили и они их просто разломали, достав то, что было внутри, — батарейки, микросхемы и механику. Внутренность игрушек заинтересовала детей больше самих игрушек: они раскладывали всё это на полу в виде узоров и пирамидок, пытаясь соединить, потом меняли конструкции, снова собирали и снова меняли.*

Понаблюдав, Лена отправила Ксиобо на рынок. Он вернулся с бутылью умного молока. Лена налила молоко в широкое блюдо и показала детям, что может это молоко. Дети довольно быстро освоились и занялись молоком. Миры, порождаемые умным молоком заворожили близнецов дней на десять. Они сидели над блюдами с молоком, манипулируя с ним. Молоко отвечало близнецам. Оторвать их от умного молока было невозможно. Лена только подносила им еду, которую они заглатывали, не отвлекаясь от молочных пространств. Когда они спят, Лена не понимала. В своё время она тоже любила заниматься умным молоком, и даже создала свой ву. Но время tis-романтики прошло, войны и жестоковыйностъ жизни заставили Лену повзрослеть и привели её в бордель.

Обычно они с Ксиобо проводили акт по продуцированию частиц ци после первого, лёгкого ужина. Это время давало оптимальные проценты от процесса. В перерывах между скачками на фаллосе мужа Лена лежала у него на руке, грызя глазурованные орешки.

— Умное молоко им интересней игрушек, — сказала она.

— Умное молоко, — повторил немногословный

Ксиобо. — У меня с ним никогда не получалось.

— Ну, с твоими-то ручищами да пальчищами! — рассмеялась Лена, кусая мужа за толстую кожу.

— Я наливал его и в большую посудину. В поддон заводской.

— Ну и?

— Ничего не вышло.

— Что, ни разу не поднялось?

— Ни разу.

— Хрен с молоком, дорогой. Мы с тобой такое можем — другие вяленой пиздой поперхнутся от зависти.

— И то верно. Пусть молоком детки забавляются.

— Они смешные, правда?

— Ага.

— Надо их к работе приучать. Пельмени лепить, углы ставить, куропчить по тао.

— Ну, чего…

— Да ничего! Ребёнок должен дело знать. Меня в приюте с детства к делу приучали. Дело!

— Дело, — повторил Ксиобо и вдруг оглушительно выпустил газы.

— Ёб твою китайскую мать! — Зажав нос, Лена спряталась у мужа под мышкой.

Хррато и Плабюх не просто посидели эти дни на умном молоке. Им удалось, к изумлению Лены, создать свой ву. И такого ву Лена раньше видела. Во всяком случае, ни у неё, ни у подруг и друзей по молочному *отрочеству такие* интересные *ву не выходили. Она позвала Ксиобо, и супруги уставились на ву, сотворённые руками белых приблуд.*

— Откуда вы узнали, как вязать струи и воронки? — спросила детей Лена, но тут же вспомнила, что те не понимают.

— Они знают плетёнку струй умного молока! — сообщила она мужу и расхохоталась. — Ну не пиздец же, а?! Кто вас научил молочке? А? *Кто сподобил сбивать* сметану?

Близнецы молчали. Лена подсела к ним, вошла в их молоко, сплела свою марлю, накрыла ей сферу детского ву, взбила и воздвигла сметанную *площадку, показала свободным мизинцем детям:*

— Повторите здесь! Здесь! Ну, делай вот тут! Близнецы не понимали её.

— Повторите это тут! По-малому, мать вашу! Ну?! Дети поняли. Их покрытые белым волосом руки вошли в площадку, вызвали десять струй, связали их, вызвали десять воронок, спеленали их, сделали мягкую *форму и воздвигли малый ву.*

— Ебать-колотить берёзовым поленом! — ах-

нула Лена.

Мудрый Ксиобо стоял с идиотской улыбкой. Он был рад, что к ним приблудились такие гениальные детки.

— Слушай, дорогой, их же можно на ярмарке показывать! — сказала Лена мужу по-китайски.

— Ну… — Тот пожал плечом.

— Не “ну”, а хороший бизнес!

В этот день в перерыве между производством частиц ци Лена предложила расслабленному мужу план: по воскресеньям на ярмарке дети садятся за низенький стол, перед ними блюдо сумным молоком, они лепят ву, народ смотрит, Лена поёт свои матерные частушки, Ксиобо с шапкой обходит толпу.

— У нас денег на жизнь хватает, — ответил муж после раздумья.

— Это пока у тебя стоит, дорогой! А если перестанет стоять?

Он снова подумал, шевеля губищами:

— Не перестанет.

— Все мужики так думают! А потом — раз, и всё! И на что мы дом содержать будем? У нас до сих пор — никаких сбережений, всё тратим на жратву да на прислугу. Надо что-то отложить на твой нестояк.

— Ты думаешь, дети на рынке заработают много денег?

Сидя у него под мышкой, Лена стала загибать свои миниатюрные пальчики:

— Ярмарка по воскресеньям, четыре раза в месяц. По полтиннику зараз точно соберём. Заодно с народом повеселимся. Можем даже пару своих карт толкануть. Не всё же оптовикам по дешёвке впаривать! Сечёшь, а? Веселуха, ебать меня кочергой! Итого — двести в месяц. Их будем откладывать. Строго! За год… это… две четыреста, дорогой! Это если по полтине заработаем, а если больше? Можно в Иньхан засунуть под проценты.

— Или на умную пушку накопить, — задумчиво произнёс Ксиобо.

Последнее время, по мере роста их семейного благосостояния, его всё более одолевали мысли о безопасности. Из оружия у них были только шесть одноразовых гранатомётов. Хотя в АР уже стоял мир, образ умной пушки, охраняющей дом, часто всплывал в мозгу Ксиобо. Иногда он засыпал, сладко думая об умной пушке.

— Ну? — Лена стукнула его кулачком в щёку

— Согласен, — произнёс Ксиобо.

Первое воскресенье на ярмарке прошло успешно:

в войлочную шапку Ксиобо накидали сорок три юаня.

Хррато и Плабюх сидели на земле за низеньким круглым столом напротив друг друга, между ними стояло широкое блюдо с умным молоком. Они лепили ву, *не обращая внимания на толпящихся вокруг них людей.*

Лена била в бубен, приплясывая и распевая частушки на актуальные темы:

Мир с казахами подписан,
Хуй с войны сбежал, как вор!
Но китайцами обдристан
Иссык-Кульский договор!
У жены премьер-министра
Из пизды торчит канистра —
Запасайся, Фёдор Джал,
Наш бензин подорожал!

Графиня рассмеялась:

— Обожаю народный юмор!

Поезд сильно дёрнуло, пустые стаканы звякнули в подстаканниках. Поезд встал. Граф закрыл книгу, глянул в окно. Там, в темноте, стеной стоял еловый лес.

— Вероятно, занос… — пробормотал граф, зе-

вая.

— Милый, я бы тоже поспала.

Граф коснулся куска *умного* пластилина, прилепленного к столику сбоку. Возникла голограмма с часами.

— Десятый час.

— Милый, мы измождены. Надо выспаться.

— Ты права. А она?

— Её положим у Тьян. Там есть место. Оденься и ступай к Тьян, — приказала графиня.

Аля встала, надела свой серебристый халат и вышла из купе.

В это время кочегары Жека и Гера, задвинув в огнедышащий печной зев пять “аллигаторов” с человеческими обрубками и нефтью, решили сыграть в scullscull-8. Жека достал из кармана base, отстегнул от стены узкую лавку. Активировал base и положил на середину лавки. Кочегары присели на концы лавки. Base ожил, раскрылся красным раструбом, который пришёл в круговое движение; вповерх раструба вспыхнули два batter — зелёный и синий. Кочегары быстро разыграли на пальцах, кому каким играть. Жека подцепил синий batter, Гера — зелёный. Жека дунул в раструб. Тот выбросил семь пылающих черепов. Гера быстро загасил их. Жека снова дунул. Выскочило

двенадцать черепов. Гера загасил их тоже. Жека дунул в третий раз. Выскочили двадцать черепов. Гера успел загасить восемнадцать, но два черепа, просияв, скатились в basket. Гера дунул в раструб. Выскочили сразу двенадцать черепов.

— Ёб твою! — пробормотал Жека и загасил все черепа.

Гера дунул опять: восемнадцать черепов. Жека успел загасить все. Гера дунул в третий раз: всего три черепа.

— Хуяк Иваныч! — С довольной усмешкой Жека загасил их.

Жека дунул в раструб. Выскочило пять пылающих черепов. Гера загасил их. Жека дунул снова: десять черепов. Гера загасил их. Жека снова дунул: два черепа.

— Ах ты, сука! — с обидой сплюнул Жека.

Гера загасил черепа и дунул в раструб: девять черепов. Жека загасил. Гера дунул в раструб: шестнадцать черепов.

— Ах ты, падло! — Жека успел загасить только четырнадцать, два черепа скатились в basket.

Гера дунул в раструб: пять черепов.

— Так-то лучше… — Жека быстро загасил их и дунул в раструб: восемь черепов.

Гера загасил. Жека дунул: тринадцать черепов.

Гера загасил. Жека дунул: один череп.

— Ёба-а-аный стос! — потряс бритой головой Жека.

— Voila! — Гера загасил череп и дунул в раструб: семь черепов. Жека загасил.

Гера дунул в раструб: снова семь черепов.

— Пиздарики, бля! — Жека загасил черепа.

Гера дунул в третий раз: девятнадцать черепов.

— Ну ты и жангуо! — Жека успел загасить только семнадцать, два черепа скатились в basket.

— Контровую?

— Контровую!

Жека дунул в раструб: девять черепов. Гера загасил. Жека дунул: семь черепов. Гера загасил. Жека дунул: девятнадцать черепов.

— Вот так, штабс-капитан!

Гера загасил все девятнадцать.

— Ну это просто… ёб твою мать! — Жека, не веря, замотал головой.

— Смерть дезертирам! — победно выкрикнул Гера и дунул в раструб: десять черепов.

Жека загасил. Гера дунул — десять черепов. Жека загасил:

— А вот так-то, бля!

Гера дунул: двадцать черепов.

— Ну, что ж ты делаешь, вредитель?! — возопил Жека, спеша гасить черепа, но два скатились в basket.

Раструб прозвенел и выдавил счёт — 4:2 в пользу Геры.

— Ну не ёб твою, а? — Жека хлопнул в тёмные от нефти ладоши. — Третий раз, бля!

— Смелого пуля боится, смелого штык не берёт, — победоносно разгладил усики Гера.

— Сегодня, по ходу, твой день, а? — Жека погасил и убрал base.

Вздохнул и запел хриплым голосом:

Братан, хорош понты корявые кидать!

Нам всё равно теперь век воли не видать!

И вдруг оттянул себе пальцами нижние веки, закатив глаза, раскрыл рот и издал крик кикиморы. Гера смотрел невозмутимо.

— Страшно? — спросил его Жека.

— Я не из пугливых, — спокойно ответил Гера.

В коридоре кроме ковровой дорожки цвета спелых абрикосов, белых занавесок и одинаковых дверей никого не было. Аля подошла к соседнему купе № 7, протянула руку, чтобы постучать, но передумала. Ей захотелось в туалет. Она пошла

по коридору, ступая босыми ногами по ковру, нашла дверь туалета, открыла, вошла. Внутри было чисто и уютно. Аля села на унитаз и помочилась. Встала, посмотрела на себя в зеркало.

— Оле, — произнесла она и коснулась зеркала двумя пальцами. — Оле, не умирае! Не умирае, моё Оле!

Она перекрестилась и трижды поцеловала зеркало.

Вдруг дверь туалета открыли. Возник подпоручик Кривошеин.

— Пардон, мадам! — почти вскрикнул он своим высоким голосом и захлопнул дверь.

Аля вспомнила, что не заперла ту за собой. Она вышла из туалета. Повернулась было налево, где тянулся коридор с дверями купе, но передумав, глянула вправо. Там за стеклом тамбура стоял и закуривал подпоручик. Несмотря на то, что на втором, военном этаже поезда были свои два туалета, он любил “ходить посрать в первый класс”. Аля шагнула к тамбуру, и стекло отъехало в сторону. Краснолицый подпоручик навёл на Алю свои маленькие, чёрные, всегда припухшие глазки.

Её серебристый халат ниспадал на пол.

— Я страшно извиняюсь! — Подпоручик щёлк-

нул каблуками и кивнул коротко подстриженной головой.

Он был в форме серо-жёлтого цвета.

— Даиете закурит, — произнесла Аля.

— Извольте!

Подпоручик достал пачку китайских сигарет “Хайшэньвэй”, протянул. Аля взяла сигарету, он дал прикурить газовой японской зажигалкой.

— Спсб.

— Госпожа далеко едет? — спросил он по-китайски, приняв её за китаянку, плохо говорящую по-русски.

— Мне нужно в Красноярск, — ответила Аля по-японски.

— Субарасий дес нэ![14] — произнёс подпоручик с грубым акцентом.

Она добавила по-русски:

— Я рускоя.

— Русская? — улыбнулся подпоручик, моргая чёрными глазками.

От него пахнуло водкой.

— Да.

Аля жадно затянулась.

— Всем семейством едете?

---

[14] Примечания: 14
Великолепно! *(Японск.)*

— Я одона.

— А родители в Красноярске?

Аля помолчала, затягиваясь и выпуская дым. Потом спросила:

— Второй этаже?

— Да, второй, — усмехнулся подпоручик. — Охраняем вас.

— Пушки, плимёт?

— Пушка, пулемёты. Как положено.

— Скажте, пжлст, у вас голова есть?

— Есть.

— Мой братец, рядовй СВ ВС АР, пропалойд.

— Во время войны?

— Да. Не найдено. Я четыр раза запросы делал. Нет ответ. Нет ответ.

— Без вести пропал?

— Нет. И не убит. И не ранено. Пропалойд! Вы могл бы, пжлст, спросите у ваш голова?

Подпоручик качнул крутыми плечами:

— Ну… это будет стоить денег.

— Я плаче.

Он кинул окурок на пол, наступил сапогом.

— Подождите тут.

И быстро поднялся на второй этаж по винтовой лестнице, гремя сияющими сапогами. Аля подошла к тамбурной двери выхода и курила, глядя в

окно на ползущий в темноте лес.

Подпоручик быстро вернулся:

— Двадцать юаней.

— Я плаче.

— Дайжобу![15] Гасите окурок, и поднимемся. У нас наверху не курят.

Аля бросила окурок на пол, он наступил сапогом.

— И деньги вперёд, конечно.

— Вперёдо?

— Вперёд.

Она задумалась на секунду.

— Вы дайёте мне двадцати йюань.

— Я? С какой стати? — усмехнулся он.

Она шагнула к нему, взяла за руку:

— Я вас отсасо.

Его небольшие брови вздёрнулись над маленькими глазками.

— За двадцати юйань. Пойдёмете.

Она потянула его за руку. Они вошли в туалет, она заперла дверь, опустила крышку унитаза, присела и стала расстёгивать ширинку на галифе подпоручика. Тот стоял столбом, слегка разведя здоровенные ручищи. Из расстёгнутой

---

[15] Примечания: 15
Хорошо! *(япон.)*

ширинки вырвался кривой член. Аля обхватила его губами.

Всё произошло быстро. Подпоручик пробормотал что-то, всхрапнул и задышал, как конь.

Аля вытянула салфетку, обтёрла свои губы. Подняла на подпоручика красивые глаза:

— Двадцати юань.

Он вытер слюну со своего маленького детского рта. Перевёл дух, потянул носом и пробормотал:

— Ещё.

Аля откинулась назад, скрестила руки на халате между коленями.

— Это будьт тридцать юань.

— Хао.

— И денге вперёдо.

Он сунул руку в карман, достал бумажку в пятьдесят юаней и протянул Але. Она нашла в халате карман, сунула туда деньги.

Второй сеанс подзатянулся. Подпоручик топал сапогами, раскачивался, стонал, мычал, ругался, стучал кулачищами в пластиковые стены. Едва он кончил, как дверную ручку дёрнули.

Подпоручик одеревенел.

Аля снова воспользовалась салфеткой, отерев раскрасневшиеся губы. Встала, протиснулась между раковиной и одеревеневшим подпору-

чиком, открыла дверь и вышла. По коридору в другой конец вагона уходил мужчина. Аля вышла в тамбур. Подпоручик, застёгиваясь на ходу, поспешил за ней. Обогнал, схватив ручищами за плечи, приостанавливая, и затопал по винтовой наверх:

— Следуйте за мной!

Аля поднялась по лестнице.

Второй, милитари-этаж транссибирского экспресса № 4 занимал пространство над двумя вагонами первого и второго классов. В пространстве над первым классом располагались башня с двумя двадцатимиллиметровыми пушками и два пулемёта. Башней в данный момент управлял сержант Тлытин, пулемётами — ефрейтор Пак, однофамилец начальника поезда. Они сидели в своих кабинах, оборудованных необходимыми приборами наблюдения, ведения огня, и несли вахту. Над вторым классом располагалась казарма охраны поезда и сменщиков Глытина и Пака. Офицерский отсек был обустроен между боевой частью и казарменной. Подпоручик провёл Алю сюда. В отсеке на двух диванах сидели капитан Пак и старшина Миллер. Между ними на столе лежал лист *умной* бумаги, с висящей над ней голограммой четвёртой версии “Robbers”, в

которую на деньги играли Пак, Миллер и подпоручик. Здесь же на столе стояли три пустые четвертинки водки “Ушкуйникъ” и полбутылки японской шо-джу, рисовая посуда с закусками и нарезанными фруктами. Приглушённо звучал русскоязычный шансон. На краю стола лежала ЖЖ[16]. ЖЖ была белая, гладкая, размером чуть больше среднего. Её устало сёк прутом рядовой Авдеенко. ЖЖ периодически смешно выпускала газы, пахнущие розовым маслом. Видно было, что Авдеенко делает это уже давно и порядком устал. Свою правую руку он поддерживал левой.

Пак был пьян, Миллер — выпивши. Из их расстёгнутых кителей выглядывало телесного цвета исподнее.

— Господин капитан, вот эта леди! — отрапортовал подпоручик, подводя Алю к столу. — Брат у неё запропал.

Пак сфокусировал на Але осовелый взгляд бесцветных глаз:

— А!

Аля кивнула ему.

— Без тебя, Иван, у меня попёрло, ёпт! — рассмеялся старшина, привычно дёргая себя за

---

[16] Примечания: 16

Живородящая жопа, генетически выращенный круглый зад.

обвислый, замаслившийся от еды ус. — Семнадцать юаней хапнул.

— Умным везёт или дуракам? — проговорил Пак, глядя на Алю. — Как вы думаете?

— Добырым, — ответила Аля.

— Добрым? — пьяно усмехнулся Пак. — А я думал — злым! А, Иван?

— Злым, господин капитан, на войне больше везёт, это точно, — ответил подпоручик, усаживаясь на диван рядом со старшиной. — У нас в батальоне был один прапор, раненых казахов своим катана добивал всегда. В шею косым ударом. А каждому пленному харкал в левый глаз. Говорил: чтоб всегда мазал. Говорят, и ещё двух пленных зарезал. И ни одной царапины, вернулся в свою деревню.

— А комбат как на это смотрел… конвенция… закон… а? — Пак повернул к нему бледное, неподвижное, блестящее от испарины лицо.

— Смотрел сквозь пальцы, господин капитан, — чётко ответил подпоручик, залезая рукой в голограмму.

— Ну… это… преступление… — недовольно покачал головой Пак.

— Они тоже преступали, — вставил старшина. — Я ж про племяша вам рассказывал.

— Да, — вспомнил Пак. — Рассказывал. Племяш. Но это… совсем не… это… а вот раненых добивать… это как-то… не по-христиански…

Он потряс головой и уставился на Алю:

— Ты… то есть вы чего хотите?

— Голва, — произнесла Аля.

— Да, с головой леди хочет потолковать, — кивнул подпоручик, набирая голографические фишки. — Брат пропал.

— Двадцать юаней, — пробормотал Пак.

И со вздохом взял свой стаканчик с шоджу. Аля вынула из кармана бумажку в пятьдесят юаней и положила на стол. ЖЖ три раза подряд выпустила газы. Авдеенко перестал её сечь, морщась и поддерживая правую руку.

— Секи! — приказал Пак.

— Господин капитан, рука отваливается.

— Левой секи! Или на гауптвахту. Альтернатива, да? Провинность серьёзная у тебя, рядовой.

Авдеенко взял прут в левую руку и принялся неловко сечь ЖЖ.

— Господин капитан, разрешите отлучиться в туалет! — высунулся из кабины пушки сержант Тлытин. — Сменщик — ефрейтор Карась.

— Разрешаю!

Пак глянул под стол, пошарил и достал крас-

ный плоский кейс. Поставил на стол.

— Авдеенко, отставить, — приказал он. — Ушёл с жопой.

Облегчённо вздохнув, Авдеенко подхватил ЖЖ и удалился в солдатский отсек.

Капитан Пак открыл кейс. Внутри была плоская чёрная поверхность. Он приложил свою правую ладонь к ней. Прозвучал сигнал. Пак убрал ладонь. Над поверхностью возникла голограмма человеческой головы.

— Заткните ушки, мадмуазель, — приказал Пак Але.

Она заткнула уши пальцами. Пак произнёс код допуска.

— Код принят, — ответила голова.

— Спрашивай! — Пак кивнул в сторону головы.

Аля вынула пальцы из ушей и, не задумываясь, быстро и старательно проговорила по буквам:

— Пехтерев Олег Платонович, GCI $397^{2}55$» DONNO 130.

— Поиск пошёл, — бесстрастно ответила голова.

Прошло полминуты. Над головой возникла карта. На карте — красная пульсирующая точка. И координаты её. Голова озвучила координаты.

— Оле! — закричала Аля так, что подпоручик вздрогнул, а Пак рассмеялся.

Голова проложила путь по карте до красной точки.

— До вашего брата сейчас сто двадцать два километра, — прищурился Пак. — Жив! А?

— Оле! Оле! Оле! — повторяла Аля, прыгая на месте.

— Нашёлся! — усмехнулся старшина. — Радость, ёпт…

— По ходу поезда, а?! Вообще! — рассмеялся подпоручик. — Вы в Бога верите?

— Оле! Оле!

— Повезло девушке, ёпт. На правильный поезд села!

— Да, справа, по ходу. Но он… это… — Пак раздвинул карту движением двух пальцев. — Не в населённом пункте… это лес. Чего он ночью зимой в лесу торчит?

— Оле, Оле! — повторяла Аля, не отрываясь от пульсирующей точки и зажимая себе рот.

— Охотится? — спросил подпоручик.

— Ночью?

— А чё, с тепловизором, на оленей…

— Или по кабану.

— Браконьер, ёпт. Может, в бегах?

— Сейчас народ деревенский голодает.

— Мясо, ёпт…

— Оле! Оле!

— В общем, вам надо доехать до Хора, сойти и вооот сюда переть. Восемнадцать километров лесом, северо-восток.

— А когыда Хор?

Подпоручик глянул на расписание:

— Утром, в 9:27.

— Оле! — Она качала головой.

— Информация закрытая, скинуть нельзя, ебёныть… — Пак взял салфетку, написал на ней координаты, название станции и стрелкой — направление. — Вот.

Он отдал салфетку Але.

И закрыл кейс. Голова пропала.

— Хор, Хор, Хор, — повторила Аля, приложила салфетку к губам и поцеловала.

— И это… сдачу возьмите. — Пак отсчитал ей тридцать юаней.

— Сыпасб!

— Обращайтесь! — рассмеялся Пак, слизывая языком пот с верхней губы.

И глянул в другую голограмму:

— Так, играем.

Спустившись вниз, Аля спрятала салфетку в

карман халата, прошла по коридору и постучала в дверь купе № 7. Ей открыла Тьян. В купе горел синий ночник.

— Мне надо сыпать до девять нол-нол, — сообщила ей Аля.

Тьян молча указала ей на постель и легла на другую. Не снимая халата, Аля легла, накрылась одеялом.

Тьян выключила ночник.

— Оле… — прошептала Аля, нащупывая салфетку в кармане.

Экспресс быстро шёл.

Стучали колеса: ту-дум, ту-дум, ту-дум.

Аля закрыла глаза и тут же заснула.

Ей приснилось, что она проехала Хор. И вышла в каком-то китайском неизвестном городе, где совсем нет людей. Аля идёт по главной улице города, она пуста, двух- и трёхэтажные дома стоят с пустыми тёмными окнами. Она понимает, что это город, покинутый людьми. И с каждым шагом начинает догадываться, почему люди покинули город. Они испугались. И Аля понимает, что люди испугались её матери. А мама здесь, в этом пустом городе, из которого сбежали эти глупые, пугливые люди! Глупые люди испугались большую маму. Просто они никогда не видали

больших людей. А мама ведь такая добрая, как можно её бояться?! От радости, что она сейчас увидит маму, которая — жива, жива, — сердце Али начинает сильно биться, она бежит по пустой улице дальше, дальше, дальше — туда, где мама. Мама там, где их огромный, деревянный, резной, бесконечно родной дом с петушком на крыше. Деревянный петушок, вечный дружок! Аля бежит. Дома не кончаются, мамин терем не виднеется среди них, не торчит, но почему?! Он же выше их всех, он такой большой, необъятный, с десятками резных башенок, светёлок, окошек, наличников, а эти дома — убожество по сравнению с ним, родным красавцем. Аля бежит, бежит. И вдруг — проём справа, как бы нет одного дома в улице, а вместо дома этого… совсем маленький терем. Мамин терем! Наш терем! Родной! Высотой с Алю. Подбежала. Терем! Башенки, светёлки, наличники — всё, всё на месте. И петушок, петушок на крыше! Аля трогает петушка. Он — как ёлочная игрушка. А теремок сам — как ёлочка рождественская. Вдруг петушок больно клюёт её в палец. Аля вскрикивает. Петушок косится насмешливо. Он живой, настоящий. И произносит голосом петушиным: “Мама дома!” Мама дома! Сердце Али готово из груди выпрыгнуть. Мама

дома! Она не умерла от ран! Она жива! Аля приседает, чтобы открыть дверь входную и войти в дом. Но как войти?! Он же такой маленький. Надо как-то протиснуться, влезть. Как-то изловчиться! Она ложится на тротуар, стучит в дверь согнутым пальцем. О, эта дверь! Она всегда казалась воротами из сказок, была такой огромной, с коваными накладками в виде листьев виноградных и гроздьев. Аля стучит, стучит. Неужели терем пуст? Нет!! Внутри знакомый голос: “Иду, иду!” Егорушка!

Слуга наш! Помощник! Аля дрожит от нетерпения: “Егорушк, отвор!” Дверь отворяется. Со знакомым, знакомым скрипом, знакомым!! На пороге стоит крошечный Егорушка, тот самый, в красном кафтане. Он — с ладонь Али, маленький, со своим вечно чем-то озабоченным и слегка улыбающимся лицом. “Егорушк! Где мамо?” — “Дома Матрёна Саввишна, дома”. Он отступает, освобождая проход и чуть наклоняя свою крошечную, гладко подстриженную голову: “Прошу, барышня”. Аля должна войти. Но как?! Она прижимает лицо к дверному проёму. Из него так знакомо и остро пахнет их прихожей! Прихожая! Аля втискивает, втискивает лицо своё в проём, втискивает до боли. И жадно видит: прихожая! Ковёр на полу

каменном, деревянные колонны, мишка, мишка! Медведь у вешалки, чучело медведя с серебряным подносом! Мишка зубастый, когтистый, которому Аля маленькая была по колено, потом — по пояс, потом — по грудь. Мишка! Рядом — скамья широкая, на которую Аля садилась зимой и Егорушка ей надевал и зашнуровывал белые ботинки с коньками, а потом за руку выводил из дома к Оби замёрзшей, огромной, бесконечной, и Аля ехала по льду и смотрела под лёд, чтобы увидеть рыбу. Над лавкой под потолком — люстра деревянная, с лампочками-свечами. Она тоже крошечная, тоже как игрушка на ёлку. Справа — два кресла кожаных и диван, протёртый, старый диван, летом, в жару всегда такой прохладный, на него так было приятно кинуться после прогулки по полям, броситься с букетиком цветов полевых и просто посидеть на прохладной коже, пахнущей аптекой, посидеть, посидеть, цветы в полумраке перебирая и ногами болтая, чтобы через минуту вскочить и побежать наверх по громадной лестнице, наверх, к маме, чтобы показать ей букетик, а мама — где? — мама в гостиной, в столовой или у себя в спальне? Бежать, бежать по комнатам громадным с букетиком в руке, бежать, искать маму, искать, её нет в гостиной, нет в столовой,

где стоит её стул гигантский и два стульчика высоких, но маленьких — стульчик Али и стульчик Оле, который сейчас на дальнем газоне играет в лапту с Сёмкой, Родькой, Фомкой, Романом, Серёжкой Ли и Витькой Горбачёвым, но мамы нет в столовой, надо дальше бежать, бежать, вот её спальня, надо налечь на дверь-ворота, чтобы она поехала в сторону без скрипа, на петлях хорошо смазанных, лёгких, чтобы Аля и Оле всегда могли отворять, дверь огромная, высоченная, по маминому росту — отходит вправо плавно, плавно, и спальня, спальня мамина открывается, её кровать, кровать как скирда сена, на ней так приятно попрыгать, подушки огромные, белые, расшитые, и мама сидит в ночной рубашке у трюмо перед зеркалом тройным и чешет свои волосы роскошные, волосы как река Обь, мама чешет эту реку волос костяным гребнем, который как грабли крестьянские из деревни, и надо теперь тихо подкрасться к маме, которая делает вид, что не заметила, как Аля в спальню вошла, подкрасться, подкрасться и, дотянувшись до маминой руки, пощекотать букетом её круглый розовый локоть. “Ой!” — мама вскрикивает пугливо-притворно. И — сразу же надо юркнуть под мамино кресло. И лечь на спину. А мама наверху — станет огляды-

ваться по сторонам: “Кто же это?!” И надо, чуть полежав на паркете прохладном, вылезти спереди кресла. И мама снова вскрикнет: “Ой! Это что за мышка ко мне прибежала?” И мамины руки большие, сильные берут, поднимают, сажают на колено прохладное. “Где была мышка-полёвка?” — “В поля!” — “Что собрала мышка?” — “Букето!” — “Что в этом букете?” — “Колокольчико, иванчае, ромашк, душиц, василько, клевере, одуванчи, аистника!” Мама улыбается. Лицо её приближается, доброе лицо, оно такое огромное. Мама целует Алю в щёку своими большими губами, которые всегда пахнут мамой. “Егорушк! Егорушк!! Егорушк!!!” — “Я тут, барышня”. — “Дай мене войти!” — “Да входите, ведь отворено”. — “Как мене войти? Дай мене войти!!” — “Да входите, барышня, входите”. — “Я говорю: дай войти!!!” — “Да что вы, барышня, входите, входите, я ж отворил”. — “Ну, пожалуйст, дай мене войти!” — “Входите, барышня”. — “Егора! Объясни, как я мога войти в дом, помогай мене!” — “Барышня, входите, вот сюда ступайте”. — “Помогай мене войти, я хоч войти, ты понимай?!” — “Да вот же, входите, Господи Боже мой…” — “Дай мене войти! Я платить, у меня есть тридцать юане!” — “Да что вы, барышня, о чём вы? Это ж ваш дом! Вот

же дверь открыта”. — “Я больш тебе платить, я работаю, я тебе вещь отдам, катер наш отдам тебе, твой буде катер навсегдо!” — “Барышня, зачем вы меня унижаете? Дверь же открыта, ну что вы?” — “Егоро, дай войти! Дай войти, мудак!!!” — “Господи, да входите уж, барышня, я ж говорю — входите, входите, входите!” — “Дай войти, сволоче проклята!!!” — “Входите, входите, барышня”. — “Дай мене войти!!!!” Аля открыла глаза. Они были полны слёз.

Она всхлипнула и посмотрела на мир окружающий сквозь слёзы. Над ней в полутьме серел потолок купе. Поезд шёл медленно. Покачивало слегка. Аля вытерла слёзы. И увидела свой покалеченный палец. И слёзы снова пришли. Она плакала в полумраке, плакала, чуть всхлипывая. На соседней кровати заворочалась Тьян. Аля вытерла слёзы. И глубоко вздохнула. Повернула голову и глянула на полузашторенное окно. За окном купе брезжил рассвет.

Часть II
Партизанский отряд “УЁ”

К солнца восходу в долину съехали.

И, несмотря на ещё срединный морозный февраль, с восточных сопок проплешеватых — весной потянуло: задул ветер *бора* с океана, пришёл на смену северной *сарме.*

Свежий ветер.

Влажный.

И сразу:

— Стой!! Сле-зай!! Рас-пределись!!

Голос комотряда всегда до каждого доходит. До всех ста двадцати девяти. Пронзительный. Свербящий. Сверлит воздух морозный над твёрдым белым настом красным сверлом.

— Тройки!! Нож!! Мётлы!! Зарядный!!

Зашевелились все, с саней сваливаясь. Ко-мотр и комиссар, как всегда, на своих санях, гнедой широкогрудой парой запряжённых. Комиссар спешился, комотр встал на санях в небольшой рост свой, от крика выгибаясь привычно:

— Лопаты!! Нож!! Плетухи!! Розенберг, головой отвечаешь!!

— Есть, товарищ комотр!

— Молотилин, Рябчик — нож!!

— Есть, нож!

И сильней изогнувшись, на ручные часы глянув:

— Время пошло!!!

И, словно в напоминанье, — первый луч солнца сверкнул на рельсах.

Полотно железной дороги вытянулось в долине между западными и восточными сопками. Западные густы лесом, восточные — лысоваты, редколесны: забористый ветер с океана достаёт.

Отряд сыпанул по насту к железке. Лопаты в снег врезались, плетухи наполнялись, нож молотилинская тройка потянула, снег им загребая.

Пыль снежная на солнце золотом вспыхнула.

Стали полотно засыпать.

— Ровней!! Без комков!! Глаже!! Родней!!

Комотр командовал.

Комиссар, тучный, рослый, кадило запалённое из ящика вытянул, захрустел унтами к полотну железки.

Солнечные рельсы стали снегом заваливать. Ровняли лопатами, оглаживали метлами, чтобы *родней* лежало. Как бы — ветром нанесло.

Комиссар вдоль полотна пошёл, кадилом от-

махивая:

— Одоление супостатов, супротивных правде, силе и воле Божьей, победу над врагами пошли нам всем, Господи!

За ним следы мётлами заметали, чтобы чисто было.

А солнышко февральское поднималось, сопки плешивые золотя.

С железкой покончив, развернули-поставили танковые сани, посрубали ёлочки, замаскировали. На мощных санях, шестёркой лошадей тащимых, — китайского танка белая башня. Ёлочки скрыли быстро, только дуло ротово высунулось. 150 мм.

— Заряд!!

Подвёз на маленьких саночках старик Басанец ящик с шестью снарядами — всё, что осталось.

Танкисты — Моняй и Паниток — пушку синим бронебойным зарядили.

Наводчики — Шуха и Прьпун — к приборам приникли.

— Маскировка!!!

Отряд в снег зарылся. Опыт есть. Лошадей с санями — в ельник.

— Тишина!!!

Всё смолкло в долине. Зимние птицы переклик-

нулись робко.

Прошло время.

Ещё прошло время.

И ещё прошло время.

И запыхтел чёрным дымом паровоз. Слева.

С востока. По солнечным лучам:

пых!пых!пых!

И тормозить стал сразу: занос.

— С нами Бог! — Комиссар перекрестился, под снегом ворочаясь.

Поезд встал.

— Пли!!!

Выстрел. Точно! Опытные Шуха с Прыгуном — на высоте. Разнесло боевой второй этаж поезда. Башня с пушками прочь отлетела. И сразу —

Второй выстрел: в казарму.

Взрыв.

Точно!

Комотр подосиновиком из снега полез:

— Вперёд, герои УЁ!!!

Комиссар с телом грузным — боровиком:

— С нами Бог, братья!!

Отряд восстал из белого, воздух пылью снежной золотя. И с рёвом — к поезду.

Долго добивать охрану покалеченную не пришлось. Этих и в плен не берут.

И вскоре —

комотр с комиссаром шли делово вдоль цепи партизанской, поезд на мушках держащей.

Партизанский отряд “Уссурийские ёбари” лейтенант-морпех ДР Иван Налимов слепил ещё во время войны из дезертиров, на *газе* сидящих. Комиссар Богдан Оглоблин, расстриженный за “злостное и рецидивное мужеложество” настоятель церкви Николая Чудотворца в селе Чугуевке, прибился к отряду сразу после Иссык-Кульского мирного договора, положившего Трёхлетней войне конец. Налимов невысокий, худосочный, с редкой бородкой. Оглоблин — человек-гора, широкий, пузатый, борода густая на груди караваем лежит.

Отряд по сопкам обретался, грабя и ебя всех встречных и поперечных. Некоторые из них прибивались к отряду. Проводились также налёты на деревни и поезда, вылазки ночные в города за *газом.*

Пассажиров всех из вагонов повывели. Ставили — лицом к поезду, руки на вагон.

Подлетели с визгом Полозовым командирские розвальни. Комотр взошёл на них, руки вдоль лядащего тела вытянув:

— Товарищи партизаны!!

Замерли все сто двадцать девять с оружием в руках.

— С победой вас!!! Ура!!!

— Ура-а-а-а-а!!!

Понеслось по долине, от сопок отражаясь. Комиссар богатырский, тучный рядом с санями, да и так выше комотра:

— Братия во Христе, православные партизаны! Даровал Господь нам победу снова, ибо правильным путём следуем, на добро опираемся, мировому злу противостоим! С нами Бог!!

— С нами Бог!!!

Командир воздуха морозного в грудь тщедушную набрал:

— Мас-ки!!!

Зашевелилась цепь: оружие — за спину, маски — с пояса.

Надели маски партизаны.

— Засос!!!

Сокровенное, предвкусительное: звук всосанного *газа.*

Раз!

Два!

Три!

Только три.

За четвёртый всос — изгнание из отряда. *Газ* — главное УЁ-сокровище. Дорогое во всех смыслах.

— Разде-вай!!!

Сто двадцать девять пар рук в пассажиров вцепились: порты вниз, юбки кверху.

Кто запротивился — тах! тах! тах! — в упор, на месте.

Разговор крутой: три трупа — сразу в отвал.

Остальные — стоят, об поезд оперевшись.

Вскрики — возгласы:

— Ребяты, я беременна!

— Не помеха!

— Я граф Сугробов!

— Это хор-р-рошо!

— Она девочка!

— Детей не ебём! В обоз!

— Не надо, парни!

— Надо, дядя!

— Парни, а вы… в писю?

— Нет, красавица! Повыше!

— Я умру!!

— Хоронить не будем!

— Я денег дам!

— Не в деньгах счастье!

— У меня там рана!

— Затянется!

— Товарищи, я машинист!

— А я часовщик!

— Вы убийцы!!

— Мы, тётя, ёбари!

Адския-я-я-я-я!!! Уссурийския!!

Началось.

Сладкий миг, ради которого вся работа боевая, вся жизнь лесная, вся скрытность партизанская, ночные переходы, страдания, холод, мошка, вши, жертвы, раны да лишения.

Парторяд ебёт пассажиров.

Солнце уж всю долину затопило, снег плотный блестит рафинадом, небо голубое, высокое.

Стоны, вскрики, вопли.

И рычание победное.

Возле паровоза на снегу — гуртом сидят лишние, человек двадцать. Ждут очереди.

Командир с комиссаром — к ним.

Пальцами — ты! И ты!

На Жеку палец комотра показал, на Геру — комиссара. Жека со снега встал, быстро штаны приспустил:

— Командир, у меня в жопе алмазы.

— Чего?

— Алмазы якутские. Уд по ходу ободрать можно.

Повернулся Жека: на его ягодицах поджарых татуировки — два чёрта с лопатами совковыми в руках. А в лопатах — алмазы блестят. Наклонился кочегар, ягодицами задвигал, как при ходьбе. От движения черти стали алмазы ему в верзоху закидывать.

Командир усмехнулся:

— Шутника в обоз!

И на Геру:

— Встать!

Гера сидит спокойно:

— Не дамся. Стреляйте.

— Ты кто?

— Разжалованный штабс-капитан ВДВ ДР.

— Десантура? Штабной? В обоз его! Пригодится.

И на пленного солдата:

— Ну-ка, становись к паровозу, служивый!

Русоволос солдат, с простым лицом русским, нос картошкой рязанской. Встал, покорно штаны скинул.

Комиссар выбрал себе мужика попухлявей, из пассажиров. Похоже — купец. Перепуганный, крестясь и подвывая, порты спускает.

— К паровозу! Становись!! — Голос комотра воздух сверлит.

Двое со штанами спущенными к тендеру тёплому встали, оперлись. У солдата задница плоска, как доска, у купца — каравай пшеничный.

У комотра уд жилистый, кривой, недлинный. У комиссара — дубина мясная.

Вставили.

Купец завопил.

Солдат застонал.

Комотр и комиссар и ебут по-разному, как и говорят: один быстро, жадно-напористо; другой — протяжно-обстоятельно.

Сладка зимняя ебля под *газом!* Быстро не кончается. Крики, стоны, рычания.

Идёт дело горячее.

Уж и кровь на снег брызжет, и бесчувственные валятся, а новые из лишних к поезду встают. Уж и до смерти заёбанные с насыпи катятся, и кости трещат, и связки горловые от крика садятся, а партизанские тела всё раскачиваются жадно:

еть!еть!еть!еть!еть!

Ненасытны адские уссурийские ёбари.

Потому как — этим и живут.

Эту страсть в себе и носят, месяцами по сопкам перекатываясь.

Купчина комиссаров, навизжавшись, замертво валится. Елда мясная, окровавленная на солнце

блестит.

— Следующий раб Божий!

Перст указующий комиссаров неумолим.

Следующего пассажира к тендеру ставят. Это есаул Гузь из Ши-Хо. Под дулами партизанскими вся СБ-спесь с него сошла. Глянув на кровавую дубину комиссара, сделал вид, что сознание теряет. Но Оглоблина не проведёшь:

— Девять грамм симулянту!

Выстрел.

— Следующий!

Женщина дородная, как и комиссар. Сибирячка. Встала покорно, юбку задрав. Крепкими руками о тендер оперлась.

— Матушка, одарил Вседержитель тебя охлупьем знатным! — одобряет комиссар, елду направляя.

Вошёл.

И — молча приняла в себя дубину Комиссарову, только тубу прокусила.

Кровь на рельс стылый капнула.

— Достойна ты, баба, проебстивой быть!

Но и она вскоре без чувств валится.

— Следующий!

Идёт дело сочное, упругое.

Комиссар уж четырех заёб. Повалился без

чувств и солдат русский, терпеливый.

Четыре часа без малого ебля адская продолжалась. Солнце уж в зенит встало, тендер паровоза остыл. Большую часть пассажиров, как и всегда, насмерть заебли партизаны. Покалеченных — с насыпи в овраг.

Барахло из поезда — на сани.

Пленных полезных с десяток-другой — в обоз. Туда и Гера с Жекой попали, и девочка Аля, и Тьян, и старик безногий, доктором назвавшийся. Рабочие руки нужны отряду: еду готовить, исподнее стирать, раны перевязывать.

— По саня-я-я-ям!!!

Голос командира — хоть пронзительный, но удовлетворённый. Победа!

— С нами Бо-о-о-ог! — Комиссар раскрасневшийся всех крестным знамением осеняет.

Дёрнули вожжи мёрзлые, заскрипели полозья.

Домой! В лес!

Но девочка Аля — с саней и — тягу.

— Стоять! — Очередь автоматная перед ней по снегу фонтанчиками.

Встала Аля, руки подняла.

— Что за девка прыткая — третья попытка!

— Я братца иещу! — заплакала.

— Мы таперича твои братцы! Ходи назад!

Подошла. Партизан Ерохин её — живородящей верёвкой за ногу, как курицу.

— Садись, не гневи наши сердца!

Села Аля, делать нечего.

— Прыткая — это хорошо. — Комотр Налимов в медвежью полость кутается. — Будет у меня сегодня ночью дрочей!

— Дело почётное, Иван!

— И ответственное, Богдан!

Улыбаются друг другу, рядом сидючи, комотр с комиссаром. Победа! Не каждый день в жизни партизанской это слово говорят.

— Н-н-но, привередливыя!

Вожжи куржавые по крупам конским прошлись. Сани дёрнулись.

В стан добрались к закату, когда солнце уж за сопки упало. Логовище партизанское хитро обустроено: в обрыве береговом реки Сунгари вырыты пещеры обширные, достаточные. Туда с реки замёрзшей с ходу сани вползают. Там и конюшня, и кладовая, и оружейная, и нары спальные, и трапезная.

Встречают партизан их помощники — поварихи, кладовщики, оружейники, конюхи. Все они — пленными оказались, каждый в своё время, а потом в отряде остались.

Добычу — в кладовую да на кухню.

Есть партизанам хочется, оголодали после дела. Ну так на что повара-поварихи? Всё готово уж. В трапезной все рассаживаются рядами тесными. Комиссар молитву читает. И — чаши с кулешом — по рукам. Хорош кулеш партизанский! С пшеном, морошкой, мясом-салом кабаньим. Кабанов в лесу достаточно. Есть и олени, и косули, и медведи. Во время войны зверь расплодился — бить некому, стрелки на фронте! Волки по ночам воют. Так что обед адских ёбарей без мяса — редкость.

Отобедав, остатки еды пленным отдали.

Аля с инвалидом рядом, из одной чаши едят. Он ест спокойно, словно и не произошло ничего в его жизни нового. Она — по брату всё печалится, слёзы в кулеш роняет. У инвалида тоже слеза покатилась, опухолью выдавленная. Застонал.

— Болит, дедушк?

— Не болит, а ноет, словно зуб.

— Мама говорила, от зубной боли свиное сало помогай.

Усмехнулся:

— Попробуем!

Вытащил из кулеша кусочек кабаньего сала, к опухоли приложил. Аля рассмеялась, слёзы утирая.

После трапезы партизаны отдыхать пошли. А пленных распределили. Аля и Тьян на кухню попали. Там ещё пятеро женщин разных. Кухня большая, в пещере отдельной. Свод пещеры, как в шахте, деревянными столбами подопрён. Пол галькой да камнями речными выложен. Четыре печи больших, из валунов и глины сложенных. Трубы жестяные — в потолок. Котлы на печах большие, чугунные, банные. В них пищу партизанам варят, моют посуду, кипятят инструменты для доктора партизанского. А на одной печи отдельно — медный котёл. Огромный. В нём варится *хлёбово.* У котла старуха и баба молодая, Анфиса краснолицая. Старуха Марефа в лохмотьях, в ожерельях из черепов змеиных и ястребиных. Анфиса варево мешает, старуха сыпет туда сушёные грибы, жучиный порошок, кидает корень женьшеня, вяленую гадюку, травы болотные, бормочет заклятие:

— Варись, хлёбово-ёбово, варись, хлёбово-ёбово…

Алю и Тьян определили к другим посудомойкам. Стали чашки и ложки в тёплой воде с китайским гелем мыть.

Инвалида безногого к доктору направили. Доктор в отряде — монгол Сэнгюм Баасанжав,

бывший фельдшер, крещённый в православие под именем Сергей. Но зовут его все по-прежнему — Сэнгюм. В отряде все — православные. Даже приставшие четверо китайцев в Православие комиссаром окрещены. Таков порядок для бойцов: православный отряд. Посудомойки, уборщицы, медсёстры — другое дело.

Но Сэнгюм сам захотел православным стать.

Спрашивает инвалида:

— Назвался доктором?

— Был.

Глянул на опухоль багровую в пол-лица:

— Тебе самому доктора надо.

— Уже не надо.

— Раны умеешь врачевать?

— Умею. И не только раны.

Зовёт Сэнгюм бойца Авдеенко, на казахской мине подорвавшегося.

— Сделай перевязку.

— Мытьё рук.

Обеспечили. Долго мыл с мылом инвалид свои руки большие. Затем занялся сложной раной бойца. Да так всё классно сделал, что Сэнгюм родной язык вспомнил:

— Сайн Хийлээ![17]

Зачислили инвалида в медчасть.

Комотр Налимов Геру допрашивал: кто, откуда, звание, биос, бои. Чётко отвечал Гера.

Последний вопрос:

— Как к Иссык-Кульскому мирному договору относишься?

— Считаю изменой и предательством.

— А к газу?

— Наркотических веществ не употребляю.

— Православный?

— Так точно.

— Готов служить в УЁ?

— Выбора нет.

— Будешь помогать нашему каптенармусу Морозевичу. Изменишь — пуля в затылок.

— Измена — не моё ремесло.

— Вот и хорошо.

Жеку *хитрожопого* Налимов допросил, тот ему всю свою цветистую биографию поведал.

— Истопником!

— Слушаюсь, начальник!

После трапезы бойцы спать завалились. На-

---

[17] Примечания: 17
Молодец! *(монгол.)*

лимов, дозоры выставив, тоже прилёг. Толстяк Оглоблин давно уж храпел.

Аля на кухне работала: мыла с другими женщинами посуду, потом котлы, потом пол в трапезной. Проходя мимо двух печей, куда Жека с другим истопником дрова швыряли, заметила кучу хлама с поезда на растопку: картонки, обёртки, сумки пустые и… книжку. Ту самую — “Белые близнецы”.

Остановилась.

— Тебе чего? — Жека рот свой полуоткрытый на Алю наставил.

— Дядя, почитай мне кынижка, пжлст.

— Чего?

— Кынижка вот ета почитай.

Жека с истопником переглянулся. Рассмеялись.

— А мне что за это?

Аля вынула из кармана халата десять юаней, протянула.

Жека хмыкнул:

— Деловая, бля.

И к напарнику:

— Семёныч, побросай пока, трёха с меня.

Тот кивнул.

Жека книжку взял, к печи тёплой присел. Аля

место в книжке показала.

Жека читать стал. Быстро и правильно. На зонах он книжки почитывал. Голос его, хрипловатый, жёсткий, Але понравился:

Ярмарочный народ посмеивался над частушками, но не мог глаз оторвать от рук детей. А *те действительно творили чудеса с* умным *молоком: один* вы *сменял другой, и разнообразию форм их не было конца.*

Дома Лена хохотала от счастья, подбрасывая в шапке мужа полученные деньги:

— Бизнес пошёл!

Вернувшись в дом, близнецы снова засели за умное молоком.

— Кушать, кушать! — захлопала в ладоши Лена.

— Не мешай им, они делом заняты, — мудро изрёк Ксиобо.

Кухарка поставила возле близнецов тарелки с едой. Те не обратили на еду внимания.

Зато опекуны устроили куанхуан по случаю первого и удачного выхода на ярмарку. За громадным грубым столом, уставленным деревянными бадьями с простой пищей Ксиобо и тарелками с затейливой едой Лены, супруги, как всегда, сидели рядом, жена — на своём высоком стульчике, муж

— на огромной табуретке.

Лена подняла стаканчик с китайской водкой:

— Мой план невъебенный, потому что охуенный, что задумала — сбылось, обломашки не стряслось, потечёт рекой бабло, только открывай ебло!

Ксиобо поднял свой ведёрный стакан, подумал и произнёс с улыбкой:

— Мудрая ты.

— Родили глупой, а стала такой!

Они чокнулись и осушили свои стаканы. После третьего фантазия Лены разыгралась:

— Можем на ярмарке свой балаган построить. Твои братья придут, вы это всё за день захуячите. В балагане на входе посадим Сяолуна, он парень честный, будет билеты продавать, внутри красоту наведём, детей приоденем, блюдо им большое закажем, а может, три блюда сразу, они в них сразу три ву *запиздячат, понял? Или даже — четыре, а? И начнётся у нас с тобой не жизнь, а вечный дзяци!*

— Пушку купим. — Ксиобо неторопливо и мощно пережёвывал свинину с тушёными овощами.

— Да мы десять пушек купим., ебать мой пупок! — захохотала опьяневшая Лена. — Новый свинарник отгрохаем, солнечную теплицу, возь-

мём дальнее поле, распашем к ебеням, засеем гаоляном, будем свою водку гнать, на рынке продавать, а на этикетке буду я… вот так стоять!

Лена вскочила на стол, подняла юбку и показала Ксиобо свои маленькие упругие ягодицы с иероглифами “желание” и “покорность”.

Ксиобо громоподобно захохотал, брызгая едой, и одобрительно закивал громадной головищей.

Под утро, построив самый сложный ву, *близнецы вынули руки свои из умного молока. Ву им так понравился, что они долго сидели, рассматривая его.*

— Так это, — пробормотал Хррато.

— Большое. — Плабюх приблизила своё лицо к ву *и вдруг рассмеялась.*

— Ты сама там, как это… так?

— Я так!

Плабюх радостно смеялась, шевеля пальцами над изгибами ву

— Так вот, — кивнул, соглашаясь, Хррато и заметил еду. — Это?

— Ага.

Он взял тарелку и стал жадно есть, загребая с неё еду рукой. Плабюх взяла свою тарелку и тоже стала есть. Опекуны приучали детей есть палочками, но сейчас те забыли про них.

Они съели всю еду.

— Охота, — произнёс Хррато.

— Охота, — повторила Плабюх и радостно засмеялась.

Хррато встал, снял с гвоздя свой колчан с луком и стрелами:

— Охота!

— Охота! — встала Плабюх.

Сестра понимала его и без слов. Она так соскучилась по охоте!

Сбросив с себя одежду, они вышли из дома. В своём лесу, *когда всё было зелёным, они любили охотиться голыми. Брезжил рассвет, горели редкие звёзды и висела бледная луна над полем озими. Близнецы пошли к лесу на голоса проснувшихся птиц.*

И началась охота. Хррато крадучись двигался, с луком наготове. Плабюх длинными и мягкими прыжками забегала вперёд, подкрадывалась и пугала птиц криком. Они летели в сторону Хррато. А *его лук не знал промаха.*

Они вернулись домой, когда солнце взошло и хозяева встали и хватились детей. Найдя одежду, они подумали, что дети сбежали.

— Ну вот и пиздец нашему бизу! — верещала Лена, хлопая себя по бёдрам. — Дали тягу при-

блуды!

Ксиобо угрюмо обшаривал дом. Скотник Андрей был послан на поиски. Но едва он подошёл к лесу, как голые близнецы вышли ему навстречу. В руках они несли добычу — тетёрку, двух соек и белку. За спиной у Хррато висел его лук. Завидя детей, Лена хотела было разразиться бранной матерной тирадой, но вид этих необычных приблуд остановил её. Освещённые солнечными лучами, они шли к дому. Их стройные фигуры из-за белой шерсти были словно облиты золотом.

— Что ж это вы… — начала Лена, но затрясла головой от злобного восхищения, — за… за переуебаны такие?! Золотые? Шерстяные? Невъебенные?!

Близнецы подошли к ней со своей добычей. И молча встали, вперившись в Лену своими сапфировыми глазами. Она тоже уставилась на них, словно увидела впервые. Сзади к ней подошёл Ксиобо.

Дети бросили добычу на землю. И вдруг начали танцевать вокруг убитых ими животных. Движения их были то плавными, то резкими, порывистыми. Они кружили, извивались, наклоняясь над убитыми и распрямляясь. Танец был настолько необычен, что Лена, Ксиобо и стоящий

рядом Андрей замерли, завораженные им. Голые, золотистые от солнца детские фигуры совершали свой танец.

И вдруг резко прекратили. И молча пошли к дому, оставив на земле трофеи. Зрители стояли в оцепенении. Лена очнулась первой. Выдохнула задержанный в лёгких воздух и указала Андрею на дичь:

— Прибери.

Дома близнецы повесили лук на гвоздь, надели свою новую одежду и снова сели к блюду с умным молоком, погрузили в него руки. Опекуны вернулись и нашли детей в их комнате.

Лена хлопнула в ладоши. Близнецы уставились на неё.

— Вы… не должны уходить без спроса, — сказала им Лена по-китайски.

И повторила это же по-русски и по-алтайски.

Дети смотрели.

— Дорогой, скажи им громко, чтобы поняли!

Ксиобо думал. Лена думала быстрее:

— Вот что! Надо просто запирать их на ночь!

Ксиобо кивнул:

— Да

Лена присела, обняла Плабюх:

— Спасибо за дичь. А теперь — завтракать,

мать вашу!

Плабюх перевела взгляд с ву на Лену.

— Завтракать! — повторила Лена на трёх языках и показала рукой, открыв рот.

— Я не хочу есть, — произнесла Плабюх на родном языке.

— И я не хочу, — сказал Хррато.

Хозяева завтракали в одиночестве.

— Нам их теперь беречь нужно, — бормотала Лена, запивая чаем пирожок с вареньем. — Второй бизнес! Понимаешь?

Ксиобо кивал многозначительно, поглощая свои пирожки размером с голову Лены.

Всю неделю Лена занималась с детьми разговорным китайским, алтайским и русским. Писать она не умела ни на каком языке, но обиходные иероглифы и слова знала и прочитывала. Лена водила близнецов по дому, указывая на разные предметы и называя их. Те быстро поняли, что от них хотят, и слушали Лену, повторяя за ней слова. К своему удивлению, Лена поняла, что дети быстро запоминают слова. Даже не просто быстро, а очень быстро. За обедом и ужином она учила их есть не руками, а палочками. И то же самое — близнецы быстро освоили палочки.

— Смотри, как они намастачилисъ, а? — Жуя,

Лена кивала мужу на сидящих за столом детей. — Всё запоминают, как роботы!

— Умные, — довольно жевал Ксиобо.

— Наши добытчики! Послали лесные боги нам их, а? Ксиобо не верил в богов.

— Корми их лучше, — посоветовал он.

— Накормим! А *на ночь будем запирать.*

Но запоры не помогли: через пару дней дети под утро разбили окно и снова ушли в лес на охоту. Вернулись с лисой и сорокой. И снова совершили свой охотничий танец.

— Они возвращаются к нам, мать их жопой в болото, — заключила Лена, осматривая разбитое окно. — Не надо запирать.

Ксиобо подумал:

— Не будем их запирать.

А *на ярмарке всё пошло прекрасно: по воскресеньям дети лепили* ву, *Лена верещала частушки, тряся бубном, гигант Ксиобо ходил с войлочной шапкой. В шапке этой раз от разу звенело всё больше монет: 47, 59, 68, 80. Народ заприметил необычных белых близнецов, и их номер стал популярным, потеснив китайских фокусников и жонглёров.*

Лена сияла от счастья:

— Это я придумала!

Дети ей нравились всё больше. Несмотря на свою какую-то недетскую серьёзность, они делали всё, что от них хотела Лена: ели палочками, мочились и испражнялись не на дворе, как было в первые дни, а в уборной, мылись в бане, носили нормальную одежду и мыли руки перед едой. И довольно быстро стали понимать слова на трёх языках. И отвечать на вопросы. Это сильно поразило Ксиобо, который стал брать близнецов на руки, носил их по дому и тыкал в предметы своим гигантским пальцем:

— Же ши шенмэ?[18]

И дети отвечали. Правильно.

А ещё они были совсем не шумными, как другие дети. Играли сами с собой в свои непонятные игры, используя всё те же обломки игрушек. И манипулировали с умным молоком. Их ву становились всё изощрённей и причудливей. Таких ву *Лена нигде не видела.*

В общем, приблуды радовали хозяев.

И через пару месяцев Лена озадачила мужа:

— Пора ставить шатёр на ярмарке, расширять бизнес! Вы с братом вроете столбы, натянете

---

[18] Примечания: 18
Это что? *(кит.)*

полотно, а я его распишу так, что все изумрудами обосрутся. Ярко! Но надо название придумать, чтобы на шатре написать.

Ксиобо задумался:

— Близнецы лепят красивый ву.

— Это *скучно и длинно!*

— Красивый ву.

Лена поморщилась, презрительно защёлкала языком, подумала:

*— Только у нас! Шерстяные близнецы-альбиносы! Супер-*ву!

Ксиобо довольно заулыбался, закивал.

За взятку быстро оформив лицензию у ярмарочного начальства, поставили шатёр. Лена разрисовала его яркими красками, рыночный каллиграф написал название нового аттракциона на трёх языках. На открытие решили всех пускать за один юань. Детям купили красивую белую одежду.

В субботу, готовясь к скачке на фаллосе мужа, Лена не торопясь умащивала свои грудь и живот кокосовым маслом:

— Завтра начнём новый бизнес! Такой, что все рты пооткрывают, ебать их колбасой! А *мы с тобой будем на небесах! Понял, какая у тебя жена?*

Голый Ксиобо уже лежал на огромной кровати,

пережёвывая грецкие орехи вместе со скорлупой и глядя на маленькое, блестящее от масла тело жены.

Жена радовала его всё больше.

“Нежная. А ещё и деловая”, — думал он.

В то же самое время голые близнецы сидели в своей комнате за блюдом сумным молоком. Они только что воздвигли ву — самый совершенный из всех, которые у них получались. Ву *воздымался над блюдом сложностоставным шаром, переливающимся цветами и объёмами, которые причудливо струились по поверхности шара, проникали внутрь и плавно перестраивали его. Шар обновлялся, формы, составляющие его, трансформировались, обновляясь и ни разу не повторяясь.*

Но вдруг пальцы Плабюх и Хррато, удерживающие шар, что-то поняли. В шаре открылись десять фиолетовых воронок. Дети вложили в эти воронки свои пальцы. Шар весь стал фиолетовым. Затем — идеально круглым, вытеснив пальцы из себя. Фиолетовый тон шара стал бледнеть и стал совсем белым. Но не молочным, а под цвет курчавых светлых волос на руках детей. И вдруг оброс такими же мелкими волосами. Волосяной шар завис над пустым блюдом. Только кончики

детских пальцев удерживали его.

— Такое, — произнёс Хррато и рассмеялся.

— Наше! — засмеялась Плабюх.

Они осторожно привстали, удерживая шар.

И вдруг, не сговариваясь, подбросили его вверх. Шар ударился о потолок, рассыпался на молочные брызги, которые окатили детей.

— Наше! — смеялась Плабюх, обрызганная умным молоком.

— Наше! — повторил, радуясь, Хррато.

Их глаза встретились серьёзно. И *они перестали смеяться.*

— Наша охота, — произнёс Хррато.

— Наша охота, — повторила Плабюх.

Хррато снял с гвоздя лук, взял стрелу. Плабюх взяла копьё и каменный топор.

Когда они крадучись вошли в огромную, как и всё в этом доме, полуприкрытую дверь спальни хозяев, маленькая, блестящая от масла жена великана уже скакала на его фаллосе. Он же, раскинувшись на кровати, вперивши взор свой в потолок, глухо постанывал в такт её движениям. Эти движения стали учащаться, Лена сильнее обхватила фаллос. Ксиобо прикрыл веки свои. Из груди его вырвался мощный стон. А *из фаллоса забил фонтан густой спермы, которая стала*

разлетаться мутными сгустками и увесисто падать на кровать.

Хррато вложил стрелу в лук, натянул тетиву, прицелился.

И пустил стрелу свою.

— Ромм! — пропела тетива.

Стрела пронзила намасленное тело Лены в середине спины между лопаток, вышла через солнечное сплетение и впилась в побагровевший фаллос великана. Ксиобо дёрнулся всем своим огромным телом, стон прервался, застряв у него в горле. Схватившись руками за кровать, великан рванулся назад, сокрушая спинку кровати, и с силой ударился затылком о грубо обтёсанные, толстенные брёвна стены.

Весь дом загудел от этого удара.

Великан потерял сознание, рот его бессильно открылся.

Хррато отбросил лук, выхватил из рук сестры копьё, вскочил на кровать и изо всех сил вонзил копьё в левый глаз великана.

— И ты! — крикнул он сестре.

Держа в руках каменный топор, она вскочила на кровать с другой стороны, размахнулась и вонзила топор в правый глаз Ксиобо.

Великан не пошевелился.

Но его жена, пригвождённая стрелой к фаллосу мужа своего, ещё была жива. Рот её, беззвучно открывался и закрывался, словно у рыбы, руки, обнимавшие фаллос, разжались, зашарили по толстой, оплетённой мощными венами коже фаллоса.

Хррато вытащил копьё из глаза великана. Плабюх вытянула свой топор. Они стояли на кровати, сжимая своё окровавленное оружие.

Вдруг тело великана зашевелилось. Хррато замахнулся копьём, Плабюх — топором. Но по рукам гиганта пошли смертельные судороги, ноги его задрожали. И он с тяжким нутряным стоном испустил дух свой.

Фаллос же его продолжал стоять, и Лена лежала на нём, шевелясь, открывая рот и бесцельно шаря маленькими руками.

— Ты, — сказал Хррато сестре.

Плабюх подошла к Лене и со всего маху всадила каменный топор ей в затылок. Лена издала ни на что не похожий звук. И перестала шевелиться и открывать рот. Вытягивая топор из головы Лены, Плабюх поскользнулась на сперме гиганта, упала на кровать и скатилась с неё на пол.

— Так? — усмехнулся Хррато, глянув на упавшую сестру, и стал вытягивать стрелу свою из

тела Лены.

— Скользко! — засмеялась Плабюх, вскакивая с пола и обтирая ступни о простынь.

— Хорошая охота, — произнёс брат.

— Хорошая охота, — повторила сестра.

И, положив своё оружие, они закружились в танце по грубому полу спальни.

Затем вернулись в свою комнату, облачились в новые белые одежды, что были куплены хозяевами для ярмарки, взяли своё оружие и вышли из дома.

Июльское солнце клонилось к закату. Свинопас Андрюшка загонял стадо свиней в хлев. Завидя близнецов, он приветливо помахал им рукой. Они же, не ответив на приветствие, двинулись к лесу.

Войдя в лес, они направились в сторону заходящего солнца. Дождавшись, когда оно село, близнецы забрались на дерево и заснули. Когда стало светать, спустились, помочились и начали охоту. Хррато удалось подстрелить сойку, а Плабюх убила топором ежа. Разрубив дичь на куски, они присели на траву возле старого дуба и насытились парным мясом. После чего дождались появления солнца и пошли на восход…

— Это чё такое? — недовольный голос дневального раздался.

Жека глаза от книжки оторвал:

— Да вот тут…

— А ну за работу, лысый!

Дневальный — книжку из рук Жеки. И в печь.

В полночь ровно в жарко натопленной трапезной начинается действо барабанное. Все партизаны, голые, по лавкам расселись. Каждый ремешком или верёвкой подпоясан, на которой сбоку маленький тамтам болтается. Кожа на тамтамах — кабанья, толстая, посему всегда глухо, но грозно звучат они. С кухни принесли и поставили на табурет медный котёл с хлёбовом готовым. Марефа запела заклятие, три круга у котла протанцевала. На котле два серебряных ковшика висят. Голые комотр и комиссар подошли и у котла встали. Худощавый Налимов подпоясан верёвкой с тамтамом сбоку. Объёмистый живот Оглоблина двойной ремень подтягивает с тамтамом достаточного размера.

— Барабаны судьбы! — говорит комотр, и тут же все хором отвечают:

— Гремят, не смолкая!!

Комотр ковш один берёт, комиссар — другой.

Поднимают они над головами ковши:

— Барабаны судьбы!

— Гремят вечно!

Налимов зачёрпывает ковшом густое перетёртое хлёбово:

— Первый ковш — наводчику!

Подходит наводчик санного танка Шуха кучерявый. Комотр ему — полный ковш в руки.

— Слава УЁ!

Осушает Шуха ковш.

— Второй ковш — заряжающему! — Комиссар свой ковш наполнил.

Заряжающий Моняй подходит.

— Слава УЁ!

Выпивает Моняй ковш.

— Третий ковш — стрелку!

Подходит стрелок танковой пушки Прыгун.

— Слава УЁ!

Ковш Прыгун выцедил.

Зачёрпывают комотр с комиссаром ещё раз ковши, воздымают:

— Слава УЁ!

— Слава УЁ!!! — гремит по трапезной.

Осушили ковши свои комотр с комиссаром.

Налимов крякнул довольно. Оглоблин ухнул, головой тряхнул и бороду-кирпич ручищей отёр.

Молчат отцы партизанские минуту-другую. Ко-

мандир заблестевшими глазами сидящих бойцов обводит. Махнул ковшом:

— Подходи!

И тут же стали все очередями выстраиваться к котлу. Командир с комиссаром хлёбово черпают, поят партизан. Каждый выпивает свой ковш, произносит: “Слава УЁ!” — и возвращается на место своё.

Когда все бойцы отряда хлёбова испили и по лавкам расселись, голый командир на стол забирается. На другой стол влезает комиссар. Комотр тамтам свой на боку поправил, на ладони поплевал, вихры пригладил.

И заговорил:

— Бойцы УЁ! Товарищи! Сегодня одержали мы победу. Ещё одну! Наши танкисты оказались на высоте. Не подвели их ни глаза, ни руки. Точный глаз, крепкая рука, горячее сердце — вот что такое боец УЁ сегодня! Правда? Правда! Вот так! А почему, спрошу я вас? Потому что каждый из вас знает, за что воюет! За что голову свою подставляет под пули врага! За что на смерть идёт! За что рвёт чужую жопу. Правда? Правда! Есть великое военное слово: мотивация! И это не пустой звук. Не аля-ля. Каждый воин на поле боя должен знать, ради чего он воюет. Кого

защищает. Что отстаивает. Чему противостоит. Правда? Правда! Мы не роботы, не зомби. Это их гонят на убой капиталисты ради своих целей. Гонят дураков, легковерных мудаков, тюфяков, байбаков и простаков. И разных байчи. Но мы не мудаки и не бай-чи. Мы партизаны! Все мы с вами в своё время сделали свой выбор. Мы знаем, за что воюем. И послали куда подальше капиталистов! Положили на них с прибором! Правда? Правда! А почему, спрошу я вас? Потому что мы — свободные люди!

По трапезной — одобрения гул.

— Мы свободны! А они — нет! За что мы ебёмся? А?

— За свободу! За свободу! — зал разноголосьем гудит.

— За свободу! Ебались, ебёмся и будем ебать!

— Ныне, приисно и во веки веко-о-о-ов! — сильным басом комиссар поёт.

Командир продолжает:

— Спросят нас дураки: а почему вы жопы рвёте? Зачем до крови ебёте? А?

— Потому что иначе нельзя! — кричит из зала боец Рябчик.

— Потому что иначе нельзя! — командир подхватывает. — А почему иначе нельзя?

— Потому что по-другому не доходит! — голоса кричат.

— Вот! Потому что по-другому не доходит! Правда? Правда! До оболваненных капиталистической пропагандой высшая истина может дойти только через жопу! Правда?

— Правда!! — в ответ гудит.

— Токмо через охлупье к одурманенным доходит нынче истина и правда Божья! — комиссар продолжает. — Ибо головы их забиты инфоговном!

— Забиты!! — командир пяткой жёлтой, костистой в стол бьёт.

И загудел стол.

— Забиты дьявольским обморачиванием, жаждой наживы, равнодушием к ближнему, эгоизмом городским, стяжательством, мшелоимством, обжорством, гортанобесием, а посему — безверием, безбожием, безответственностью, бесчеловечностью, а стало быть, и сатанизмом, будь проклят он ныне и приисно и во веки веко-о-о-ов! — бас комиссаров гудит.

— Будь проклят сатанизм городской!! — пятка командира в стол бьёт.

— Будь проклят сатани-и-изм!! — голоса партизанские ревут.

Заметно, что восстаёт уд командира. Да и у некоторых в трапезной стали уды восставать — ёбово-хлёбово силу свою показывает.

— Поэтому ебали, ебём и будем ебать!! — командир кричит.

— Будем ебать!! — голоса ревут.

— Еть будем сильно и беспощадно, по-правосла-а-а-авному! — комиссар поёт.

— По-православному!! — зал ревёт.

— Заебём!! — командир восклицает и пяткой в стол бьёт.

— Заебё-ё-ё-ём!! — зал ревёт.

— Заебё-ё-ё-ём! — поёт комиссар и своей ножищей в стол бьёт.

Разные ноги у командира с комиссаром, и звук от удара их разный: от жилистой ноги Налимова — резкий, звонкий, как будто гвоздь забивает; от белой столбообразной ножищи комиссара — глухой, широкий, словно гром перед грозой.

Елда у комиссара тоже восстаёт. Елда достойная! Да и у собравшихся начинают уды шевелиться.

Снова бьёт в стол пяткой командир:

— А спрошу я вас, товарищи мои, кто помогает нам еть врагов?

— Га-а-а-аз!!

— Ия вопрошаю вас, православные, кем нам послан газ? — Комиссар руки свои могучие, белые разводит.

— Бо-о-огом!!

— Богом! — Комиссар крестится размашисто.

Все встают и крестятся.

— Паки, паки миром Господу помо-о-о-олимся! — голос мощный комиссара под сводами земляными звучит.

Начинается общая молитва. Крестятся и кланяются партизаны.

Едва молитва кончается, командир в стол пяткой бьёт:

— Барабаны судьбы!

— Барабаны судьбы-ы-ы-ы!!

У всех собравшихся уды уже восстали.

Берёт командир свой тамтам в левую руку, а правой в него удом бьёт:

— УЁ-бох!

Партизаны, каждый в свой тамтам удом:

— УЁ-бох!!

Комиссар — левша, так что левой рукою свою могучую елду сжимает, в тамтам ударяет:

— УЁ-бох!

— УЁ-бох!! — по залу раздаётся.

И все вместе:

— УЁ-бох!! УЁ-бох!! УЁ-бох!!

Гремят под сводами земляными барабаны судьбы партизанской.

Гремят всю ночь, не смолкая.

После действа барабанного комотр и комиссар в свою пещеру удалились. Общее у них жилище в подземном укрывище партизанском. Пещера просторная, своды земляные досками широкими подхвачены, которые столбы дубовые подпирают. Пол выстлан коврами, реквизированными у капиталистов. В пещере стоит мебель дорогая, буржуазная. Здесь же и ванная комната с туалетом и душем, подогреватель воды от солнечных батарей. Водопровод партизанский из реки Сунгари воду сосёт. В пещере две кровати широких, письменный стол, сетевая пирамида, кресло массажное, бар с напитками крепкими. На стене у кровати командирской — ковёр, на нём холодное оружие висит — секира, шашка, сабля, ятаган, кинжалы. На ковре у Комиссаровой постели — *живые* картинки с русскими богатырями: Илья Муромец, Василий Буслаев, Александр Невский. Икон в пещере нет, как и во всём укрывище, — запрещены. Ибо не иконам должен истинный христианин молиться, а Богу.

Комиссар после действа барабанного — сразу в

душ, пот смыть с тела большого.

Командир за звонка шнурок дёргает. Входит адъютант его Савоська.

— Доставь мне ту девку, что сегодня трижды бежать порывалась.

— Есть, товарищ комотряда!

Вся обслуга, все пленные на время действа барабанного запирались дубовой дверью с засовом мощным в одной пещере.

Командир бар открыл, достал бутылку виски “Масахиро”, налил в стакан, из холодильного термоса льда зачерпнул, сунул. В другой стакан налил сливовицы.

Приводит Савоська девку ту. Сама как подросток, но лицо взрослое, красивое. Стоит перед командиром в ватнике, под ним — халат китайский. Командир — голый, с удом стоящим. Расстегнул пояс, снял тамтам, на крюк повесил.

— Как звать тебя? — спрашивает девку.

— Аля.

— Большая честь для тебя, Аля, в эту ночь будет: опустить уд командира.

Молчит девка.

— Раздевайся!

Разделась она догола.

Командир на девку глянул, хмыкнул одобри-

тельно, прыгнул на постель, из стакана не капли не пролив, навзничь лёг, по покрывалу шёлковому, монгольскому ладонью шлёпнул:

— Садись!

Села та рядом с ним.

— Дрочи мой уд, пока не опустится!

Взяла Аля уд командира, стала дрочить. Заметил он, что у неё на руке указательного пальца нет.

— А палец где?

— В Ши-Хо отсекль.

— Дрочи здоровой рукой!

Переменила руку Аля.

Тем временем комиссар из душа вышел. От тела его белого, обширного пар идёт:

— Благоле-е-е-епие!

— За барабаны судьбы, комиссар! — командир стакан с виски поднял.

— За барабаны судьбы, командир! — со сливовицей комиссар свой стакан взял.

Осушил Оглоблин стакан одним глотком. Рушится комиссар на постель, скрипит она под его весом.

— Серафи-и-и-им!! — зовёт комиссар зычно так, что в баре бокалы звенят.

Входит Серафим, адъютант комиссаров.

— Хроменького ко мне!

— Слушаюсь!

Аля тем временем уд командира дрочит. Комиссар до тумбочки дотянулся, коробку сигарную открыл, вытянул сигару кубинскую, обрезал, закурил.

— Славно постучали сегодня, — выпускает комиссар дым в изнеможении.

— По-большевистски! — командир довольный стакан с виски на грудь себе поставил.

И застонал, задвигался: молофья-матушка в гости стучится. Брызнуло из уда командира.

— Не останавливайся!

Аля дрочить продолжает.

Дверь отворилась, вошёл Серафим, а с ним — подросток хромой. А лицо — точно как у Али — взрослое, красивое. Глянула Аля на него мельком и — застыла. Перестала дрочить командира. Замерла, рот открыла.

— Я же сказал — не останавливаться! — командир напомнил.

Но Аля уд из руки выпустила — и к хромому подростку:

— Оле!!

Тот тоже рот раскрыл:

— Аля?

Обняла подростка Аля с разбега, да и повалились они на ковёр.

— Твою мать! — Серафим навис над ними, что делать, не зная.

Командир с комиссаром на сцену эту уставились.

Аля подростка целует, обнимает. Вскрикнула, прижалась — и в слёзы.

— Сука, кайф обломала! Серафим, в расход дуру! — недоволен командир, что ещё и виски себе на грудь плеснул.

Серафим в кобуру полез.

— Погоди, Иван, — привстал на кровати комиссар. — Хроменький, что с ней?

— Она… сестра… — пробормотал тот, в объятье задыхаясь.

— Вы брат и сестра?

— Да.

— Уебёныть! — командир рассмеялся. — Отставить, Серафим.

— Близнецы! — комиссар заключил. — Видать, давно не виделись.

И — дым кольцами пустил.

Командир сумрачно на объятия близнецов смотрел. Потом вскрикнул:

— Встать!!

Хроменький первым зашевелился. И стал привставать. Но сестра висела на нём, плача и бормоча: “Оле! Оле!”

Серафим схватил их, встряхнул и на ноги поставил.

— Смирно!! — выкрикнул командир.

Оле постарался команду выполнить, Но Аля опять на нём повисла.

Серафим одним движением оторвал сестру от брата, в ухо ей прорычал:

— Смирррно стоять, командир приказал!

Сестра оторвалась от брата, руками рот зажимая. Командир на них уставился грозно:

— Вас, придурков, для чего сюда позвали? А ну— по койкам!

Оле сразу разделся, подхромал к кровати Комиссаровой, лёг рядом с ним, взял обеими руками елду Оглоблина и принялся дрочить.

Серафим Але на кровать командира указал. Как сомнамбула, подошла она, села, взяла командирский уд.

— Ещё раз остановишься — пристрелю! — командир пообещал.

— Легко и плотно, сын мой, легко и плотно… — комиссар сигарой запыхтел.

— Дрочи крепко, девка! — комотр приказал, из

стакана виски отхлёбывая.

Стала дрочить его Аля. Дрочит, а сама на брата смотрит неотрывно, по щекам слёзы текут. Брат тоже на неё поглядывает.

Снова у командира молофья брызнула. А попозже и комиссар застонал, забормотал: “Господи, помилуй!”: из елды его большой потоком семя хлынуло.

Три раза кончили командир и комиссар. После чего Але и Оле было приказано вон выйти.

В закуте для пленных хоть и полумрак, но не холодно — печи в укрывище партизанском мощные. Оле и Аля в углу сидят, друг к дружке прижавшись. Сестра руку брата обеими руками держит, словно потерять его боится.

Брат шёпотом рассказывает:

— И короче, ад ноупле торфэ, когда комполка засветил *шар*, нас, ноупле, ноубле, всех — в 120-ю, просто на платформах, вообще без всего, ад пиро, как скот, три часа на морозе, офицеров, да?! да, ад ноуп, ад ноупле довезли, в подземку, там склады, ад торфэ, торфэ, переобмундиро-вали по-быстрому, потом оружие, пиро просто-широ ноупле, смешно, дают то трёху, то зидонг, то трёху, то зидонг, кому одно, ноупле, кому другое, логики не ищи, хотя того и другого навалом, кропино

простоширо, я говорю, почему трёхи, ноупле, нам всем зидонг положен, если формируют штурмбат, как торфэ пряникэ, а мне капитан объ-яс-ня-е-ет, ноупле: кодеры — не первый эшелон, пряникэ слит, трумбораши, вы второй волной двинетесь, или даже третьей, третьей, третьей ад торфэ вис, так что некомплект, в пользу ВДВ, ноупле тормэд, ноупле трис, элите, элите штурма положены зидонги с *жидкими* ракетами, ад ноупле торфэ разома, а нам и зидонги лёгкие, ракетницы пусты и комплекта нет, нет, нет, ноупле корморош, смешно, только патроны, патроны ад торфэ, короче, сформировали штурмовую роту из айтишников и кодеров, триноупле приставшон, триноупле корборан, триноупле двис, ты понимаешь, Алька, комизм, так сказать? а? а?! штурмрота айтишников, я кодер, интеллигент, ад ноупле, стал в одночасье штурмовиком пристошон тормэд, солдатом корборан! а? а солдаты срочные уже перемолоты бронишава ноупле казахо-китайцами, как сливхэ броди, а теперь мы, кодеры пристошон, штурмрота корборан с пустыми зидонгами, знаешь, нас даже не покормили ад тормэд, скоты, ад торфэ эти морограши из 120-й, вам, говорит этот кретин длубе, теперь на *блины* — и вперёд, господа, а как же сухпаёк?! Ноупле

вовгрэ?! Воды дайте попить, скоты, торфе! нет, вам пристошон на *блинах* раздадут воды и сухпайки, короче, хрипонь у нас третья рота тормэз, майор Темиров — комроты хрипонь умани, а второй ротой вообще подполковник хрипонь лески Васин командует, понимаешь, а?! я говорю Майгаку — генералы брохрашко тогда у них, что, батальонами командовать будут? Короче, смех ноупле и грех хрипонь чур, я человек ад ноупле с образованием — рядовой третьей роты пристошон хрипонь, Алька, что у тебя с пальцем?

— В Ши-Хо забрал, как враго, они мамину биу пробили, Олешка, там бластером гадо отсёк, я пошла вон, ой, я не верю! Оле! Оле!

Она обняла его, прижалась.

— Ужасно, ноупле ужасно. Всё ужасно, Аленька, хрипонь моргораш, хрипонь домбораш, самое ужасное было на фронте торфэ тормэд пири, после этих *блинов,* на которых нас подвезли к передовой трисшабри, а там уже — ад, ад ноупле кромешный, там бьют чершанко кассетными, сыпят, сыпят ад ноупле шрапнелью тормэд, нашу роту стали косить торфэ, шробфе, как траву, Майгак погиб ад ноупле, и Йосиф, и Пингвин сипрэ, милый, добрый Пингвин сипрэ, я же учился с ним моршоран ад ноупле, из смежной группы,

он помогал мне с монгольским, с митрибиси, с соцан-тропосом, интеллигентнейший человек, и ему снесло восроши полголовы, я не забуду, не забуду, не забуду пири мозг его на пеньке, Алька, что у тебя с пальцем?

— Ши-Хо, бластером, раз — и нет, как тебя ранил, как ранил?

— В том бою я выжил, мы отошли к Тынде, зарылись обриш, закрылись ворпиш, переночевали тормэд, холодно до костей, ад ноупле, хотя нам всё дали, вроде термородящее исподнее шрипро-стак, я описался оршин, правда, было мокро, вы-бро, но а как? страшно, быстро, бронё, я никогда не был даже на сборах, трисшаби сидел в офисе, тут фронт, кровь, ад торфэ, убивают десятками, сотнями, всё время обстрелы шрапнель хрипонь, мины тормэд, обстрелы скуконь, ты была на маминой могиле?

— Да, я цыветики сажала, там хорошо, большо и мамочк спит, я молиласе, кланялосе и убирало, грабила, грабила, а как тебя ранил, как ранил?

— Потом двинулись хрипонь ноупле на Нерюнгри, не сами, конечно, нас шроновак двинули ВДВ, вперёд идите, морограш, тамбураш, мы вас прикрываем ад ноупле торфэ, а почему им бы вперёд шроп, чроп не пойти? пошли, пошли,

морограши, дамбураши, началась артдуэль ад торфе тормэд через нас, как под куполом рёва робнариш, снаряды свистят робнарэш, а мороз ударил, Аль, ад ноупле торфэ, хорошо, что тут тепло у них, правда ноупле? Когда ты поехала ад рос? Ты в Барнауле была?

— Я был во Владике у Айвазян, они меня приютеть, говорят мы маму уважало, мама им давала пашеница, тогда, когда были пожар, были мясо, они бежало как родные японцы. Я жил, жил у Айвазян, потом у Рита, но Рита сама ушла, бежала от Ши-Хо, я жил одна, просила есть, делала плохо, чтобы давай есть, делала, делала, всё думало: Оле, Оле, где Оле?!

— Я здесь, Алька, ад ноупле торфэ здесь. Есть хочется.

— У тебя болито нога?

— Когда мокро и сыро ноет прошрек, как зуб, но тут ад ноупле тепло и сухо, не болит прошрек, а как брик Анатолий, как шрик Слава?

— Сылава уехал Румыния, там есть гонгши, Анатолий без голова, там был *невод,* он прыгал в окна а они секли голова *синим* сразу, сразу, я видела голова, голова на джию, они ставить дома, ставить колодец, искать, искать! Оле, а нога? Вот это? Оле!

— Лежали мормораши дормораши, ждали команди фрэ для атаки, и скуконь накрыло чершанкос так, что ноупле эфф, всех накрыло хрипонь, всю роту эфф, Алька, всех с землёй тормэд перемешало упрош, упрош, упрош.

— Всех убивал?

— Всех, всё ноупле, меня задавило землёй тормораш, как горгонь, как фрэ хрипонь, я дышал через землю вакс шракэ, дышу, дышу, дышу, задыхаюсь и ноупле упрех сознание теряю, но шраконь опять дышу, дышу ад ноупле, и спать шракэ хочу, как хрипонь, как морораш, как фараш, и заснул, и проснулся ад ноупле и уже ночь чувствую фрэсс, чувствую фрэсс, что ночь, тихо, я в могиле ад ноупле, правая рука зажата морораш, стал левой рыть, рыть, и фэтт, чтобы рот и нос ад ноупле торфэ освободить, и вырыл яму тормэд, там небо, звёзды хрипонь, ночь, никого, а тело в земле ад ноупле, я копал и лез эффро, лез эффро, лез эффро, и вытянул и снова спать, спать тормэд, сознание кормонь, вормонь.

— И проснулс, Оле, проснулс?

— Проснулся ад ноупле от боли, нога, нога вын, вын, как шраконь, чувствую кто-то ногу мою трис ноупле гложет, я пистолет вытянул из шрэк кобуры, был на взводе, снял с преда, как фрике,

как трике и сразу — пах! пах! пах! выполз весь, вижу морораш борбораш, а у ноги лежит лиса фрэ! Убил лису ад ноупле!

— Лиса?

— Лиса фрэ, трэ, она мне глодала ногу, как форконь, как вронхонь, ногу шрапнелью прошило морораш, кровь текла, она на кровь пришла фрэ, врэ, стала кровь тормэд нюхать трэ, лизать брэ, и потом стала ногу жрать вын, фрын глодать.

— Эта нога?!

— Эта нога ад ноупле.

— Лиса нога твой есть?!

— Перегрызла мне фрэсс сухожилие скуконь, ад ноупле, но я попал в неё, вижу в темноте морораш дамбораш лежит лиса у ног, лежит фрэ и вын. Убил, Алька!

— Сука лиса! Ела нога Оле! Ах, сука! Ах, сука!

— Достал фрэ аптечку, бинт вриш, антисептик форконь, обработал трэ рану, перевязал кое-как, ад ноупле дух перевёл на спину лёг тормэд, наверху звёзды, морораш дорбораш, тишина, никого ад ноупле, ни одного звука при, и есть хочется очень, как фрэ горгонь.

— Асухпаёко?

— Ни хрена так и не дали, торфэ пири, сказали — после хрипонь штурма.

— Сыволоч! Сыволоч! Оле!

— Я вижу — лиса фрэ убитая, подполз варни, она ещё тёплая фрэ, брэ, нож достал скуконь мор-конь фрэ, перерезал ей горло, форконь торфэ разома, стал кровь её пить, пью фрэ, пью брэ, тёплая кровь, хорошая, торфэ разома, торфэ разома, напился крови пири, ноупле вовгрэ, отвалился фрэ, заснул.

— Оле, Оле…

— Проснулся — утро, рядом опро арто, бух, бух, пусто ад, никого хрипонь, огляделся разом а фрэ все перепахано ад ноупле, трупы наших фрэ скуконь, земля, воронки, куски, лиса фрэ пири, голова кружится шамбораш упараш, замёрз тормэд, нога болит хрипонь, ад ноупле варво замёрз, схватил лису за фрэ хвост, в воронку сполз упорот, морораш, распорол лисе брюхо, нашёл горгонь печень, Аль ты помнишь фрэ я любил жареную мрон печень убараш?

— Любило, Оле, любило! И я любил! И мамоч-ко любил, она себе велела много делать печёнка, корыто кругло, многа печёнка с яблок жареный, с корица, с гвоздичка!

— С яблочком, яблочком ноупле, фрэ печёнка, я печёнку пири вырезал у лисы из брюха морораш и съел, жадно, жадно фрэ тормэд проглотил, как

не жрал никогда, и сразу силы пришли. Я опытный пири, Алька, а? Я интеллигент ад ноупле!

— Молодецо, Оле! Интеллигены Оле! Оле молодецо! Я горжусе мой Оле!

— Хотел встать ноупле фрэ, не моту, нога не ходит скуконь фрэ. Убараш нашёл второй автомат, рядом трупы фрэ, два, три, десять тормэд, торчат упорош, на двух автоматах, как на костылях — ковыль, ковыль ад ноупле назад, назад, назад. Шум — едут наши на брэдли фрэ, подобрали, в госпиталь скуконь торвонь, врач сказал: фром-бараш две недели скуконь фрэ и снова в строй фрэ ад ноупле! Снова в бой фрэ! А?! На штурм фрэ! Из раненых кодеров тормэд!

— Суки! Оле!

— Я четверо суток пролежал ноупле, потом через фрэ окно в сортире полотенцем накрыл фрэ, шваброй выбил тормэд фрэ, бежал смин с чужим био. Скачал в реанимации фрэ фромбораш.

— Молодецо, Оле!

— А потом… мыкался ад ноупле, где придётся скуконь, жил у разных пири, у разных фири, а потом был налёт УЁ на Хонг Кун, а я там жил, и меня хробораш ноупле в плен взяли они.

— Оле! Они тебя ебать?!

— Нет, я же хромой. Уёбанцы инвалидов не

ебут ад ноупле домбораш. Устав!

— Оле!

— Теперь я фрэ хромой ад ноупле! Шрапнель фрэ и лиса!

— Оле! Оле! Мой Оле!

— Дрочу комиссару фрэ. Карьера кодера, а, фромбораш? Хромой кодер Олег Пехтерев, ад ноупле борбораш!

— Оле, Оле…

С дрожью Аля к Оле прижалась, обняла. Руки в ремень вцепились, расстегнули, брюки расстегнули. Губы сами нашли то, что так давно искали в снах мучительных.

— Алька… Алька… — Оле вздохнул, земляной потолок глазами обшаривая. — Я есть хочу ад ноупле.

Спит партизанская обслуга в закуте. Храп женский и мужской глухо раздаётся — земля кругом. Сухая. С потолка не каплет. Гера и Жека рядом сидят, к дубовым подпорам привалившись. Гера кемарит, Жека курит, по тюремной привычке дым в рукав выпуская, бормочет:

— Ты говоришь — в регулярную армию. В какую, бля? У кого? Японцы чужих не берут, китайцы возьмут и выжмут до капли, бля, аж не ебаться. А я не мышца-пацан, возраст, бля. У ДР

денег ни хера, репарации. У АР — комиссия, био, анкета, бля. Там всё серьезно. Тема не моя. В УР — можно, в принципе, я уже прикидывал, но опять же — био, био. Зэчок им не в подарочек. В Кривию, что ли, ехать? Или к московитам наниматься? На хуй! Так что — гражданка выходит по всем раскладам.

Гера дремлет, спокойно лицо его с усиками штабными. Жека продолжает:

— А на гражданке с моим био — только кочегаром. Или землю копать. Пока, во всяком случае. До первого скока. А скок — дело тонкое, бля. Его пугать не надо. Вот я тебе случай расскажу: один фраерок, первоходка, решил после срока био своё затереть *по-сухому*. Ну, имеет право, ёптеть. *Мягкого* спеца нашёл, набашлял. Тот слепил ему новый био. Короче, проверили они по glenn — норма. Фраерок с новым био пошёл на биржу — ищу работу. Он до зоны pni ворочал в NCNN. А тут — я, говорит, готов служить в *мокрой* доставке. Ну, присаживайтесь, обсудим. Слово за слово, хуем по столу — быстро место нашли. Чистый list, конечно! Фирма японская, персонал русский. Башли нехуёвые, бонусы. Работа непыльная, без мозга, суетись — и всё. И — первая доставка. Штатовский банк, рядом, в соседнем квартале,

бля! Ему налили, вставили, загустили, ramka оформил как положено. Поехал на броненосце *официально,* а у них секьюрити не по glenn пробой делает, а по lawtonn. Штаты, ёптеть! Всего два банка в городе ихние! Короче, вошёл, ramka прислонил: аларм, ебёна мать! Проникновение! Он, мудило, нет чтобы под дурака: ни хуя, ваш косяк, я чистый, — ломанулся бежать. С жидким! Сандерболом ёбнули, потом — в аквариум. А там *сухую* затируху найти — два пальца обоссать. Короче, новый срок фраерку, а?

Пихнул Жека Геру.

— Всех дезертиров — к высшей мере… — не открывая глаз, Гера пробормотал.

— Маша-а-а-а-а! Прыга-а-а-ай! — хриплый крик в темноте раздался.

Вскричал во сне инвалид безногий, с опухолью. Зашарил руками. И тут же захрапел, забулькал.

В полдень комотр с комиссаром совет отряда собрали. Большое дело, выношенное: налёт на Мухен. Весь комсостав в круглой пещере собрался: комотр, комиссар, начальник контрразведки Буров, командир танковой шестёрки Зульц, командиры взводов Розенберг, Щербина, Ласточкин и Бураковский. Сперва Буров доложил:

— Товарищи, путь на Мухен свободен, китайцы

вчера отошли за хребет в Сукпай, в городе только полиция и два полунёба.

— Момент ловить надо! — пальцами весёлый Розенберг щёлкнул.

— Ежели Господь нам путь приуготовил, а китайцев с пути устранил — с нами Бог, товарищи! — комиссар перекрестился.

— Зачем китайцы за хребет так рано переметнулись? — комотр задумался, бородку теребя. — Праздник же в пятницу.

— И праздник зело большой для них — День возвращения северных территорий! — с улыбкой комиссар бородищу свою огладил.

— Чтобы подготовиться! — Буров продолжает. — Там же дивизия генерала Нюя стоит. Вместе в Сукпае отпраздновать захотели. С танцами, фейерверком.

— Так просто?

— Проще не бывает, товарищ комотр!

— И впрямь — почто им одним на мухенском отшибе праздновать? Сольются воедино в китайской бесовщине своей! А мы это и попользуем с Божьей помощью!

— Правильно толкуешь, комиссар! Только полиция — тоже не младенцы. У них нос есть, у них и *пальцы есть*, у них пушки по крышам стоят.

— Товарищ комотр, там пушек всего три.

— А это три наших залпа. — Зульд ус свой подкрутил.

— Успеете?

— Постараемся.

— Уж ты постарайся, Зульд, а то заебём.

— Сделаем всё, товарищ комотр.

— Если делать налёт — то ночью в пятницу, товарищ комотр, — лобастый Буров советует. — В самый праздник.

— А я бы сделал на ночь пораньше, — опытный Щербина заговорил. — Завтра.

— Какие соображения?

— На праздник по уставу китайцы должны дозоры расставить. А сутки перед — они будут к празднику готовиться, провиант возить. Руки солдатские нужны.

— Разумно! — комиссар бороду свою теребил, распушая.

— Значит — завтра ночью? — комотр строптивую губу зажевал.

— Точно так! Не ошибёмся.

— Сколько времени на переход?

— Часа четыре.

— Какая погода?

— Ночью до минус семи.

— Не шибко холодно.

— Двинемся в ночь, подойдём, в распадке затаимся. На рассвете ударим.

— А перед выходом — молебен Георгию Победоносцу! И — с нами Бог, товарищи!

— С нами Бог!

В полночь в укрывище комиссар молебен провёл.

После молебна — командир слово держал:

— Налимовцы! Уёбанцы! Дети и товарищи мои! Отправляемся в бой, в новый поход! На Мухен! Давно хотели, правда?

— Пра-а-авда!!

— Давно чесалось в месте этом, а? А что такое для нас — Мухен? Зачем он нам? На кой ляд он нам сдался? Ежли покумекать умишком — ведь и другие объекты у героев УЁ имеются. Правда? Правда! Но это ежли — легкомысленно покумекать. А ежли покумекать глубоко, по-ленински, по-православному, то каждый из вас поймёт нутром своим, печёнкой, что такое Мухен. Стоял себе городок на речке Немте. Жили там русские, корейцы, украинцы. Мыли золото, копали молибден. И неплохо жили. Но пришли китайцы и захватили Мухен. И стал Мухен китайским. Был

себе русский, а стал китайский! Дуойме джандань![19] А я спрошу вас: и какого хера? Почему православные мухенцы должны китайский сапог на своей шее терпеть? Почему Красный Дракон Николу Угодника попирает? Пришли, вломились, понимаешь, уселись на золото, на молибден! Хорошо это?

— Не-е-ет!!

— Справедливо это?

— Не-е-е-ет!!

— Можем мы, уёбанцы, это стерпеть?

— Не-е-ет!!

— Должны мы взять Мухен и заебать всех насмерть?

— Должны-ы-ы-ы!!

Командир одобрительно глазами вострыми своими партизан обвёл.

— А ежли должны, то — сделаем?

— Сдела-а-аем!!

Снова командир свой отряд обвёл глазами, словно каждого в себя беря.

— Выступаем, товарищи!

— Выступа-а-а-ем!!

— За справедливость!

---

[19] Примечания: 19
Как просто! *(кит.)*

— За справедли-и-ивость!!
— За православие!
— За правосла-а-авие!!
— За ленинизм!
— За ленини-и-изм!!
— Биться до крови!
— Би-и-иться д-о-о крови!!
— Ебать насмерть!
— Еба-а-ать насме-е-ерть!!

После пламенной речи командирской — двинулся отряд. На санях неспешно ехали-ползли, чтобы лошадей не притомить. Луна светила. Сделали три привала. К шести утра тёмного въехали в распад между сопками. До Мухена отсюда — полторы версты.

Затаились.

Как рассвело, танковая шестёрка вперёд выдвинулась, в подлеске хвойном развернулась, встала. Танкисты стали башню к залпу готовить. Ожил белый ствол танка, к первой цели потянулся: пушка в здание ксингжень устремила дуло своё. А за стволом и все глаза партизанские потянулись, к стали холодной прилипнув.

От дула пушки белой, от снаряда синего, от Шухи-наводчика всё теперь зависит.

Замерли сердца партизанские.

Зульд в бинокль цель еврейскими глазами ест.

Открыл рот свой упрямый.

И изо рта:

— Огонь!!

Прыгун спуск нажал.

Харгаааах!!!

Точно!

Разнесло пушку на ксингжень. Моняй с Панитком зарядили моментально — опытные парни. И тут же Шуха вправо ствол повёл, навёл. Цель: пушка на казарме.

— Огонь!!

Харгаааах!!!

Разнесло.

Зарядили. И — ствол налево. Цель: пушка на машинном заводе.

— Огонь!!

Харгаах!!

Точно!

Сделано дело великое!

Командир довольный — маузер из кобуры:

— Вперёд, товарищи! Заебём гадов!

Но не успела рука командира в небо утреннее дуло воткнуть, как — с правой и с левой сопок — пулемёты ударили! По отряду в распадке:

— До-до-до-до-до-до!

Оторопь!

Свистят пули крупного калибра. Впиваются: в снег. В тела.

Отряд — аххххххх!

Отряд — в снег.

Отряд — винтовки-автоматы к бою.

— Ложись!!! — крик командира запоздалый.

А с сопок, под пулемётным веером — лава конных. На железных лошадях. Шашки в руках сверкают. Снег — волной дыбится.

— Нас кто-то предал! — вскрик партизана Некрасова.

И — рубка в снегу копошащихся, отстреливающихся.

Шашка в ближнем бою — зверь лютый. Пуля против неё — хромой скороход…

Партизанский отряд “Забайкальские ёбари”, из засады на УЁ навалившийся, был сколочен капитаном-подводником Семёном Хваном сразу после окончания Трёхлетней войны из дезертиров да уголовников. В отряде ЗАЁ — сто сорок два шашки-штыка. Хван — невысок, кряжист, круглолиц и злобен всегда почти. На злобе его и дисциплине драконовской отряд держится. Уж год как Хван зуб точил на уёбанцев налимовских, а тут перебежчик из УЁ, Витька Корень,

комиссаром в самое нутро *обиженный* за газа перерасход, рассказал про дислокацию да и про давнюю уёбанскую идею — на Мухен напасть. Штурмовать пещеру УЁ в лоб — рискованно. Вот и замыслил Хван коварство: выждать, когда налимовцы на Мухен пойдут, да и подловить их в распадке. Всё рассчитали в штабе ЗАЁ точно. Повесили в распадке *пауков.* И не ошиблись.

И четверти часа не понадобилось заёбанцам, чтобы в пух уёбанцев разнести.

Из ста двадцати девяти — пятьдесят четыре убитых, тридцать шесть раненых, остальные — пленные. Поставили шеренгой бессильной. Сосчитал их хвановский ординарец, якут Саян:

— Тридцать девять, господин капитан!

— И ещё парочка! — Хван на коне серого металлопласта, в дублёнке чёрной, в шапке волчьей, с мечом японским, с плетью электрической.

Палец его в перчатке замшевой в комотра и комиссара упёрся:

— Становись!

Встали Налимов с Оглоблиным к своим.

— Ну как, комотр? — узкие глаза Хвана Налимова кольнули.

Молчит Налимов. Лицо его желвакастое, с бородкой редкой — сурово-спокойно.

Зато комиссар Оглоблин потрясён. Ряха его широкая, полная — опрокинута. Да и борода православная всклокочена. И видать по всему, что вера не помогает комиссару.

— Чего молчишь?

Молчит комотряда. Стоны раненых, трупы товарищей под солнцем февральским, холодноравнодушным.

— Пойдём в твоё логово по следам вашим! — Хван усмехнулся победно. — А по дороге — будет вам, выскочкам уссурийским, смертельная ебля!

Смех победителей в распадке взбаламученном звучит беспощадно. Все заёбинцы — на китайских железных конях “МА 4000”. Хорошие кони, скачут без устали, овса не требуют. Заёбинцы — богатые. Многих пограбили, многих заебли.

В Мухен Хван сунуться не решил: зачем? В планы не входило. Да и китайцы скоро опомнятся, пришлют из Сукпая солдат на снегоходах бронированных.

— Отряд, за мно-о-о-ой!

Потрусили кони железные по следам налимовского отряда. Живых лошадей даже и не взяли с собой: на кой ляд им живые? Их кормить нужно. Танковые сани тоже бросили. И раненых — подыхайте, побеждённые!

А пленных уёбанцев пёхом погнали снег месить.

Скомандовал Хван:

— Запевай!

И затянул начальник контрразведки Лю Цзе Хьян:

Спи, мой хуй толсто-о-оголовый, ба-а-аюшки-баю!

Тут же голоса подхватили довольно, победно:

Я тебе, семивершковый, песенку спою.

Стал мужать ты понемногу,

И возрос, друг мой,

Толщиной с телячью ногу,

В семь вершков длиной!

В шести верстах от Мухена, в роще берёзок корявых приказал Хван остановиться и спешиться.

— Уёбанцев — на стойку!

Стали каждого *ставить на берёзу:* верхнюю одежду — в снег, грудью к берёзе, руки вокруг ствола и на запястьях шнур пластиковый затягивают. Потащили было и Налимова к берёзке, но он:

— Господин командир!

— Слушаю тебя, Налимов! — Хван в седле под-

боченился.

— Дозвольте нам с комиссаром поглядеть, как наши товарищи будут еблю смертную принимать. Чтобы поддержать их по-братски. А опосля и нас заебёте.

Недолго Хван думал:

— Валяй!

И тут же:

— Gas!!

Отстегнули заёбанцы маски свои, пустили газ, вдохнули — раз, другой, третий, четвёртый.

Расстегнули порты свои. Глянули Налимов с Оглоблиным — у большинства заёбанцев уды обновленные, с хрящевыми вставками, с мормолоновыми наконечниками.

С обидой комотр языком прищёлкнул: богатый отряд.

Потянули победители порты с побеждённых.

— Мужайтесь, товарищи!! — командир крикнул. — Мы с вами за правое дело бились, честно воевали, честно ебли, честно и помрём!

— В рай всех вас ангелы, ангелы понесут, Господи… — дрожащим голосом комиссар продолжил. — У Господа за пазухой окажемся, братья православные, не сомневайтесь, не бойтесь, Господь милостив, за борьбу нашу честную да

за страдания приютит нас ныне и присно и во веки веков…

Началась смертная ебля. Закричали, застонали уёбанцы. Зарычали победно заёбанцы.

Хван на коне восседает, улыбается, блестит зубами на солнце: победа!

Побеждённых на всех не хватило, ебут по очереди. Стоны и крики. И первая кровь брызнула на снег.

Мощно и страшно ебут хвановцы.

И вот уже первый уёбанец замертво валится. И второй.

— Держитесь, братья! — командир подбадривает.

Но кто же, кто спокойно смертную еблю вытерпит?! Кричит истошно Рябчик, ревёт быком упрямый Розенберг, матерится Зульд, беззвучно вопит горлом осипшим Прыгун, плачет навзрыд Шуха кучерявый, трясёт головой от боли Буров, трёхэтажно материт победителей Щербина. А на командира мат, стоны, обиды — градом сыплются:

— Завёл нас, чёрт худосочный…

— Всрался нам этот Мухен…

— Штоб ты сдох, Налимов!

— Лучше б я в оборотни пошёл…

— Проебали мы налёт из-за штабных…

Горько слушать это командиру. Темнеет, стареет лицо его. И тубы посеревшие страшное слово на воздух морозный выталкивают:

— Разгром…

Когда забайкальские последнего уёбанца заебли, пришёл черёд и командира с комиссаром. Раздетые донага, встали они у берёз.

— Прощай, комиссар, не поминай лихом.

— Прости, командир, коли чем обидел я тебя вольно или невольно…

И вставили им: командиру — сам Хван, комиссару — контрразведчик Лю.

Командир мужественно *вставку* перенёс — ни звука, только скулы желваками заходили.

Комиссар вскрикнул высоко и забормотал:

— Господи, помилуй, Господи, помилуй!

У Хвана уд — обновлённый, удлинённый, хрящи с золотым наполнением, вставки из голубого мормолона. Да и Лю не отстал — тридцать три сантиметра хрящей, колец да вставок.

И полчаса не прошло, как командир собственными кишками заблевал да и осел замертво у берёзы. Худое тело его, в шрамах и язвах зажавших, навсегда с корявой берёзой обнялось.

Неудовлетворён Хван — недоёб! Оттолкнул Лю

от комиссара. Тот — к берёзе корявой полным телом приник, объёмистый зад оттопыря, воет высоко, однотонно:

— Господи, поми-и-и-илуй! Господи, поми-и-и-и-луй!

Вставил ему Хван.

И на тон выше запел-завыл Оглоблин:

— Господи, поми-и-и-и-илуй!! Господи, поми-и-и-и-илуй!!

Три раза кончил Хван и отвалился, под партизан забайкальских одобрительные вскрики. Но — жив комиссар Оглоблин, хоть и кровь из межягодичья брызжет. Сразу очередь к нему выстраивается. Вставляют по очереди комиссару. Уже и весь его зад пухлый кровью окрасился, и голос сел. Уж не вопит он, а хрипит фальцетом:

— Господи, помилуй, Господи, помилуй…

И на девятом забайкальце валится комиссар на снег окровавленный, валится грузно, бессильно — душа вон!

После заебания побеждённых командир отряда Хван речь держал:

— Бойцы ЗАЁ! Мы победили старого врага нашего — УЁ! Злой был враг! Коварный! Долго он на нас нож точил! Мечтал в спину нам воткнуть! По-подлому! Нам, забайкальцам! Но не на тех

напал! Мы не овцы, не олени, чтобы спину свою подставлять! Сколько они нам гадили! Сколько раз нашу добычу уводили! Три поезда наших заебли, пограбили! Ходили по пятам! Следили нас! Всё хотели сзади напасть! Сзади ударить! Как трусы! Все уссурийцы — трусы! А забайкальцы — герои! Мы никогда не гадим! Никогда в спину не бьём! Хочешь биться — бейся честно! Как воин! Как герой! Мы сегодня показали им, как надо биться! Честно! Как орлы! А не как лисицы! Не как барсуки! Мы бьёмся по-честному! А они бились по-подлому! И вот добились! Поглядите на них! Вот они, уссурийские лисицы! Вот они, уссурийские барсуки! Сидели по норам! Коварство копили! Злобу копили! Вылезали, чтобы напасть по-подлому! Заебать нас хотели! А мы напали по-честному! И победили! И заебали их насмерть! Потому что мы — забайкальцы! Мы герои! А они — падаль! Ура!

— Ура-а-а-аа!!

Поднял руку Хван. Стихло “ура!” партизанское.

— Теперь, когда мы уёбанцев налимовских заебали, пора гнездо их громить! И покончить с ними навсегда!

— Навсегда-а-а-а!

— Эскадрон, по коня-я-я-ям!!

Вскочили на коней железных забайкальцы.

— За мно-о-о-о-ой!!

Поскакал рысью конь Хвана по следу налимовцев. За ним — его бойцы.

— Запевай!

И загремел в роще берёзовой гимн ёбарей забайкальских:

По долинам и по взгорьям
От Байкала до Шилкй
Шли лихие эскадроны
Разъебать врагов полки!

Наливалися баллоны
Газом от “Шань Лан Хуа”[20],
И вдыхали эскадроны
Так, что падала трава!

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда —
Забайкальские отряды
Разъебали города!

И останется, как в сказке,

---

[20] Примечания: 20

“Шань Лан Хуа” — “Горный Голубой Цветок”, китайская компания Xing De Gas.

Как манящие огни, —
Мы ебали вас без смазки,
Волочаевские PNI[21]*!*

Заебали атаманов,
Заебали воевод
И на Тайпингьяне[22] *славно*
Свой закончили поход!

А в это время в пещере на Сунгари-реке победителей своих ждали. Застолье готовилось обильное, как всегда. Всеобычно Анфиса краснолицая победные застолья приуготовляла, но тут ей Жека вызвался помочь, рассказав, как поваром на зоне работал и начальству лагерному банкеты закатывал.

— Я все соуса знаю, могу кулебяку шестиярусную сбацать, могу буайбес замутить из какой хошь рыбы, а могу и целого оленя запечь, — загибал он свои пальцы заскорузлые.

Жеке Анфиса поверила.

И оттянулся он с банкетом праздничным по полной. Сразу после ухода партизан на дело

---

[21] Примечания: 21
PNI — Police of Nature Inspection.

[22] Примечания: 22
Тихий океан *(кит.).*

началось кашеварство в укрывище подземном: разделали на кухне двух кабанов, четырёх гусей и двенадцать тетеревов; из голов кабаньих и кореньев лесных суп сварили, из печёнки гусиной и жира нутряного кабаньего Жека паштет приготовил для комсостава, Анфиса четыре сотни пирогов с салом кабаньим напекла, тетеревов Жека в углях в глине запёк, гусей на куски порубил и потушил с сушёными яблоками-грушами, сделал три соуса — из белых сушёных грибов, чесночный и луковый. Сердца кабаньи Анфиса в горшочке под тестом запекла, кабаньи почки Жека приготовил в мадере, что в баре у комиссара оказалась, а кабаньи мозги обжарил в муке исключительно для командира с комиссаром. Самих же кабанов на вертелы насадили и долго на медленном огне томили.

Натопили в пещере печи жарко, накрыли столы длинные, положили на них венки из трав сушёных и сели ждать героев УЁ. Знали все в укрывище: после ебли победной, адской партизаны всегда и голодны адски.

Во время готовки Аля и Оле, как и большинство обслуги партизанской, поварам помогали.

Аля пирожки лепила, Оле с другими мужчинами с кабанов шкуры сдирал, гусей и тетеревов

щипал. Другие женщины этими перьями подушки набивали. Гера с истопником печами занимались, топили, дрова носили, подкладывали.

Укрывище УЁ запиралось на засов мощной дверью, из полбрёвен дубовых сплочённой и для маскировки слоем песка обклеенной. Издали ни человек, ни зверь вход в укрывище не различит — сплошной обрыв песчаный над рекою спокойной, безлюдной. Семь стуков в дверь входную был знаком своих. Его и ждали утром в пещере. Но дождались другого:

Взрыв!

Дверь дубовая — в щепы.

Вломился штурмотряд заёбанцев, из автоматов всё поливая.

— Не стреляйте! — женские крики раздались.

Шестерых из обслуги уложили забайкальцы на месте. Остальные стояли между лавками с руками поднятыми.

Вошёл Хван в пещеру раскупоренную, электроплёткой себя по сапогу похлопывая, искры рассыпая, обвёл стоящих взглядом узко-злым. На женщин — ноль внимания. Хван — женоненавистник закоренелый. Плётка в сторону мужчин дёрнулась, искря:

— Кто такие?

Стали отвечать.

Козлов:

— Истопник.

Байрак:

— Охранник.

Рашидов:

— Охранник.

Жека:

— Повар.

Гера:

— Истопник.

Анфиса:

— Повариха.

Плётка искрами посыпала:

— Баб не спрашиваю! Мужикам отвечать! Ты кто?

Ответил раненый Сэнгюм:

— Доктор.

Дед безногий с опухолью в пол-лица поддерживал его.

— А ты кто, обрубок человеческий?

— Я тоже доктор. Его перевязать надобно. Кровь течёт. Кровь людская — не водица, надо ей остановиться, чтобы жизнь не утекла, чтобы силушка пришла, чтобы вспрянул человек и дожил свой

честный век!

Усмехнулся Хван:

— Не доживёт! Лахава! Точка!

Ординарец Хвана Лахава моментально выстрелил: пуля в лоб доктору Сэнгюму. Валится доктор.

Инвалид вскрикнул, словно пуля в живот ему попала.

— Ты чего? — Хван в инвалида вперился.

— Я — ничего. А вот ты — чего? — инвалид заговорил с укором. — За что убил?

— За то, что лечил уёбанцев.

— Он людей лечил, а не уёбанцев.

— Уёбанцы не люди.

— А кто же?

— Уёбанцы.

— По-твоему, у них души нет?

— Ты в душу веришь?

— Верую в бессмертную душу человеческую. Душа живёт в человеке отдельно, по своей стати она беспредельна, от мёртвого отлетает, новорождённого жизнью наполняет, её ценить и лелеять надо, а вот оскорблять её не надо — может обидеться и почернеть, тогда навалится адская меть, будешь помечен за плохие дела до тех пор, пока жизнь из тебя не ушла. Изнутри разрушаться

будешь, покуда себя не избудешь.

Рассмеялся Хван.

— Командир, пристрелить его? — Лахава спросил.

— Пока не надо.

Плётка Хвана искрой синей в сторону Оле треснула:

— А ты кто?

Заговорил Оле:

— Ад ноупле торфэ, я кодер, кропино простоширо инвалид, пристошон хрипонь.

— Якут, коряк?

— Русский ад ноупле броуди я.

— Ты чего мелешь? Отвечай мне по-русски!

— Я ад ноупле торфэ, хрипонь торморош…

— Лахава!

Красная точка прицела лазерного моментально на лбу Оле засветилась.

— Он брато мой!! — Аля возопила, бросилась к Оле, обняла, от пистолета закрывая. — Он русски, мы с Алтая, он инвалиде война! Не стреляйё!

— Сестра? — Узкие глаза Хвана на Алю уставились. — Одна морда, правда. Близнецы?

— Близнецьй! Близнецьй! Мы с Оби! Наша мамо был атаманш Матрёна.

— Атаманша Матрёна?

— Ад ноупле бронишава атаманша хрипонь Матрёна! — закивал Оле головой.

— Очень интересно! — Хван усмехнулся. — И что вы, алтайцы, дети Матрёны, у уёбанцев делаете?

— Мы еда готовил, пироги пекла, мясо жарило.

— Мясо ноупле торфэ, морограши для победителей пристошон.

— Для победителей?

— Дыля победитель, — Аля головой кивает, брата обнимая, заслоняя.

— Для победителей? То есть — для нас! — Хван переглянулся со своими. — Они пир готовили для победителей! Хао! А мы их, подлых лисиц, победили! Так сейчас и попируем! Эскадрон! По лавкам!

Заёбанцы стали по лавкам рассаживаться. Их было больше побеждённых уёбанцев, поэтому садиться тесно пришлось.

— Эй, вы! — на лавку усевшись, обратился Хван к стоящей уёбанцев обслуге. — Мечите на столы, что приготовили!

На длинные столы стали подавать еду приготовленную.

И начался пир победителей. Обслуга принесла всё, что для своих наготовила. И часа не про-

шло, как всё было съедено под победный смех и вскрики одобрительные. Наевшись, рыгнув, Хван обвел захваченных в пещере взглядом глаз прищуренных:

— А теперь — лекью[23]! Освободите стол этот! На середину его!

Освободили один из длинных столов, передвинули на середину.

Хван глянул на стоявшую обслугу. Его палец остановился на Гере:

— Ты!

И на Жеке:

— И ты! Полезайте на стол и бейтесь! Который свалится — пристрелим. А кто на столе останется — того отпустим. На волю. Ясно?

Гера не двигался. Жека оглянулся затравленно.

— На стол! — Хван скомандовал.

Жека сразу на стол полез. Гера стоял на месте.

— На стол! Лахава!

Ординарец на Герин лоб красную точку навёл. Гера помедлил чуть. И на стол полез.

— Командир, а чем они биться будут? — спросил есаул Дадуй.

— Предлагайте! — Хван усмехнулся.

---

[23] Примечания: 23
Потеха *(кит.).*

Предложения ждать себя не заставили:

— Камнями!

— Ножами!

— Дубинами!

— Костями вот пусть дерутся!

— Лучше — мясом! Вон, ещё осталось!

— Котлами, котлами!

— Ложками!

— Мисками!

Эта идея всем заёбанцам очень понравилась:

— Мисками! Мисками пусть дерутся! Точно! Хао, хао!

— А может, мисками с говном?

— Ты что — в нас полетит!

— Ха-ха-ха!

— Дайте им миски! — Хван приказал.

— Я офицер. И унижаться не буду, — твёрдо Гера проговорил. — Кулаками готов биться, мисками — нет. Хотите — стреляйте меня сейчас.

Хван свой непроницаемый взгляд на Геру направил, губами тонкими, жестокими пожевал:

— Пусть бьются кулаками. Только кулаками, ясно?

В укрывище подземном тишина наступила.

Гера и Жека к битве за жизнь приготовились, каждый по-своему. Гера в боксёрскую стойку

встал, Жека — кулаки сжал, в стороны развёл и чуть присел угрожающе. У Геры лицо — спокойное, офицерское, как и всегда. Жека рот свой мокрый открыл, ощерился зубами жёлтыми. И прохрипел угрожающе:

— Мы не бьём, а убиваем, маленьких не трогаем!

И пошёл на Геру. Тот стоял не шелохнувшись. Жека стал бить размашисто, нанося удары снизу вверх, на ногах полуприсев, каждый удар выкриком злым сопровождая:

— Ха, бля! Ха, бля! Ха, бля!

Гера молча отражал, на месте стоя. И тоже ударил: мимо, мимо, вскользь лысой башки Жекиной. Наблюдающим быстро понятно стало — если Гера и брал уроки бокса, то немного и недолго. Кулак Жеки попал Гере в ухо, он пошатнулся, но устоял на столе. Из уха пошла кровь.

— Ха, бля! Ха, бля! Ха, бля!

Жека бил, размахиваясь широко, брызгая слюной, глаза пуча, по столу топоча. Гера стал пятиться, отбиваясь, но не попадая. Лицо его с маленькими усиками выражения своего не потеряло, только щёки закраснелись. “Я офицер!” — словно это лицо говорило.

— Ха, бля! Ха, бля! Зэчок вам, бля, не червячок

— пальцем не раздавишь!

Отбивался Гера, пятясь. Жека наступал. За-ёбанцы на поединок смотрели, Лахава с пистолетом наготове стоял, чтобы упавшего со стола пристрелить.

Жека Гере по скуле заехал хлёстко. Пошатнулся Гера, но устоял.

— Вот так, нах! — задышал Жека хрипло и харкнул на стол смачно. — Зэчок, бля, — не червячок!

И снова вперёд попёр:

— Ха, бля! Ха, бля! Ха, бля!

Его удары размашистые на Геру посыпались. Отбиваясь, Гера кулаком в рот Жеке попал. Отшатнулся Жека, попятился:

— А, сука ёбаная, штабист хуев!

Сплюнул Жека кровь и зуб.

— Ты думаешь, мы, зэки, не люди, бля? Мы мусор? Пыль подножная? Плесень, бля, подзалупная? Нет, нах! Я ещё на твоей могиле просрусь, нах! Сюда иди, нах! Иди, штабист!

Гера пошёл вперёд. И стал бить — неточно, прямолинейно.

Жека отмахивался. И бил снизу вверх, когда получалось. Герин кулак Жеке в глаз ткнулся.

— А, блядь-сука! — тот выругался и на Геру с рёвом бросился:

— На, бля! На, бля! На, бля!

Удары на Геру посыпались. И один — снова в ухо пораненное. Гера ответно Жеке — в голову, в плечо, в голову. Кровь и слюна в стороны полетели.

Отпрянул Жека, на ногах присел, кулаки сжав угрожающе. Он дышал тяжело, хрипло. Гера стоял, стойку боксёрскую держа. Глаз его заплыл слегка, из уха кровь сочилась. У Жеки глаз заплыл сильно, кровь изо рта разбитого на стол капала.

Постояли бьющиеся время некоторое, в себя приходя.

И Жека вперёд кинулся:

— Хы, бля! Хы, бля! Хы, бля!

Удары его отчаянные, беспорядочные на Геру посыпались. Защищался тот как мог. Попал Жека снова по уху, нос задел и по голове вскользь. Гера ударил ответно — раз, другой, третий. Отпрянул Жека. Стало заметно, что устал он: дышал тяжело ртом разбитым, лицо раскраснелось. Гера высморкал кровь из носа расквашенного. Жека вперёд кинулся, махая руками из последних сил:

— Хи, бля! Хи, бля! Хи, бля!

Увернулся Гера от двух ударов, сам ударил Жеку в челюсть. И попал. Отшатнулся тот, попятился и задницей плоской на стол присел. Гера

добивать не стал — замер над севшим, кулаки окровавленные у груди держа. Жека сидел на столе, кровавый рот открыв, дыша тяжело.

Гера ждал.

Хван одобрительно зубом цвиркнул.

— Вставай! — Гера произнёс.

Заворочался Жека, на карачки встал, потом приподнялся. Руки поднял. Но едва занёс руку для удара, как Гера ему точно в лицо врезал — раз, другой, третий. Круглая голова Жеки, как дыня, назад мотнулась. Зашатался Жека и со стола на пол полетел, обрушился:

— Ой, бля!

Точка красная лазерного прицела пистолета Хвана ему в лоб упёрлась.

— Стреляй, падло… — Жека разбитым ртом прохрипел.

Но — Хван руку свою поднял.

Все замерли.

Минуту-другую в пещере тишина висела.

Затем заговорил Хван:

— Вы достойно бились. Не как барсуки и лисицы. Не как уёбанцы. Отпускаю вас обоих. Убирайтесь!

Заёбанцы загудели одобрительно.

— Дайте им одежду, — Хван приказал.

Байрак ватники и шапки Геры и Жеки принёс. Гера со стола спрыгнул, оделся, вынул платок, женой расшитый, громко кровью высморкался, лицо обтёр, платок к уху пораненному приложил. И пошёл сквозь толпу заёбанскую к двери. Жека на полу заворочался, глазами вокруг шаря, словно не веря. И снова лёг на спину.

— Встать! — Лахава Жеку сапогом ткнул.

Тот встал с трудом, за локоть от падения разбитый схватился, застонал:

— Ёбтвою…

— Пошёл отсюда! — Лахава пистолетом махнул.

Жека приподнялся с трудом. Встал. Лицо его побагровело, глаз заплыл, рот кровью блестел.

Нахлобучил шапку свою. Морщась, за локоть держась, накинул ватник на спину. И побрёл, шатаясь, за Герой.

Заёбанцы расступились.

Пошли сквозь них Гера с Жекой. И вышли сквозь дверной пролом на волю.

Хван свой прищур на женщин устремил:

— А теперь — смертельная бабья пляска! Женщины переглянулись напряжённо.

— А перед пляской скажу я пару слов о вашем роде. Что есть баба? Второй номер. Из ребра му-

жика создана. Полна слабостей. Вместо мышц — сиськи. Вместо ума — хитрость кошачья. Или лисья. Вместо героизма — змеиная повадка. Вместо хуя — пизда. Что есть пизда? Рана на теле. В эту рану слабые мужики хуй свой засовывают. И становятся бабьими рабами. И прилепляются к ним. И теряют себя. А мы, заёбанцы, — не бабьи рабы. Мы сами по себе. А вы — помеха. И слабость. А слабость, которая ещё и помеха, — мы давим. Беспощадно. Но я дам вам шанс. Сейчас каждая из вас разденется догола, влезет вот на этот стол. И спляшет нам танец победителей. А мы его оценим. Если плохой танец будет — пуля в лоб от Лахавы. Спляшет хорошо, по-победному — свобода.

В укрывище напротив толпы заёбанцев стояли четверо женщин — полногрудая, дородная Анфиса-повариха, Тьян субтильная, старуха Ма-рефа и Аля.

— Первая — на стол! — Хван на Анфису указал.

Анфиса с другими женщинами переглянулась и стала раздеваться нехотя. Раздевшись донага, на стол влезла, встала. У неё было тело полное, белое: большая грудь, крутые бёдра розовые, ноги полные, ступи крепкие.

Хван плеткой по столу ударил. И все набив-

шиеся в укрывище заёбанцы стали ритмично в ладоши хлопать. Озираясь по сторонам напряжённо, Анфиса начала на столе пританцовывать. Хлопки партизан в гул слились. Наполнил он пещеру. Анфиса приплясывала под этот рокот всё сильнее, ногами полными по столу притопывала, руками разводя. Пляска её была русской. Груди её большие в такт танцу качались, зад объёмистый колыхался.

Заёбанцы хлопали.

И вдруг Хван руку поднял. Хлопки стихли. Анфиса плясать перестала. Хван усмехнулся. По толпе гудение разочарования прошло. Анфиса стояла на столе, растерянно руки разведя. Глянул Хван на своих: как?

Замотали головами, рты подковами выгнули: никак!

Хван двумя пальцами соединёнными показал “О” Анфисе.

Точка красная лазерная на лоб её смертельной мухой легла.

Выстрел.

Пуля в голову впилась.

Анфиса назад отшатнулась, как от толчка по лбу, и повалилась на стол навзничь. Загудел стол от веса её.

— Не вышло у ней победной пляски! — громко Хван объявил.

Труп Анфисы со стола стянули.

— Ты! — Хван на Тьян указал.

Та тут же проворно с себя одежду скинула, легко на стол вскочила. Её тело худое с маленькой грудью и узкими плечами-бёдрами на столе замерло.

Хван плеткой ударил. Захлопала толпа партизанская.

Тьян словно ждала того: затанцевала, завертелась, замахала руками. Танец её был китайским. Прыгала она, ногами быстрыми воздух пещерный простригая, руками над собой чертила, прогибаясь и на колени падая, вскакивала, семенила по столу, как трясогузка, подпрыгивала, прогнувшись, припадала к столу по-тигриному, извивалась змейкой, веретеном крутилась.

Хлопали и хлопали заёбанцы.

Глядел и глядел Хван на пляску Тьян. И вдруг руку поднял.

Стихли хлопки.

Но Тьян умная продолжала.

Три сотни глаз за её пляской следили.

А она танцевала, танцевала не останавливаясь, движения убыстряя. Пляска длилась и длилась.

Голое худое тело извивалось на столе, вертелось, прыгало, падало, восставая снова и снова. Это продолжалось и продолжалось.

Стали переглядываться заёбанцы.

Командир с их глазами встретился своими.

И выгнулись подковами лица небритые, зимними ветрами обсосанные.

Хван “О” из пальцев сложил. Но Тьян его не различила — в танец погружена была.

Зато Лахава понял.

Выстрел.

Крутясь вокруг оси своей, Тьян на стол осела. Тело её быстрое сложилось, тельцем бессильным становясь. И обездвижилось.

Сдёрнули китаянку мёртвую со стола, как куклу тряпичную.

— Ты! — Палец Хвана на старуху указал.

Запела Марефа на языке шаманском — глухо, хрипло, — слова русские, китайские и якутские, перемешивая, словно в котле — варево. Стащила с себя одежду засаленную, протёртую. На стол с трудом вскарабкалась.

Тело её — старческое, с грудями и задом обвислыми, с рёбрами, сквозь кожу дряблую проступающими, с ногами, подагрой обезображенными, с длинными ногтями жёлтыми на руках-ногах.

Захлопали ей.

— Яха моро хьен варо, яха моро шьян дары, яха моро шан мараф! — запела на столе Марефа и небыстро закрутилась на месте, ногами уродливыми по столу притоптывая.

Руки в стороны развела, локти — вверх. Словно ворона старая.

Хван зубом цвиркнул. Губы выгнул презрительно.

Лахава сразу командира понял.

Выстрел.

Марефа вскрикнула хрипло, словно каркнула. И со стола на пол повалилась, кости старческие ломая.

Смолкли хлопки.

— Не победный танец! — Хван произнёс жёстко.

И тут же — палец на Алю:

— Ты!

Аля разделась спокойно, словно и не приказывали ей. На стол влезла. Встала. Руки на груди скрестила. И лицо своё красивое вверх подняла.

Хван по столу плёткой стеганул. Захлопали все.

Но Аля не пошевелилась. Хлопать стали сильней. И ещё сильней. Гул хлопковый по пещере

волной пошёл.

Аля стояла, глазами в потолок земляной вперившись.

Хлопали заёбанцы. Сильней! Сильней!

Аля стояла, как скала маленькая, под волной хлопков.

Длилось это и длилось.

Хван руку поднял. Смолкло.

Тишина мёртвая в пещере повисла.

Вдруг Аля ногой в стол топнула, руки вверх вскинула и возопила изо всех сил:

— Побед!!!

Открылись рты у заёбанцев.

Лицо Хвана словно застыло. Но ненадолго. Губы жестокие разошлись. И рассмеялся довольно командир партизанского отряда ЗАЁ.

И засмеялись все, захлопали: победа!

Аля на столе стоит. А вокруг — гул и шум победный.

Стали скандировать:

— Победа! Победа!

Доволен Хван, довольны партизаны.

Поднял командир руку. Стихло всё.

— Сплясала нам эта девка танец победный, — Хван произнёс. — За это — жизнь и свободу ей дарим. Слезай!

Слезла Аля со стола.

— Одевайся и уходи.

Аля через труп Тьян переступила — и к Хвану. Упала на колени, снова руки на груди скрестив:

— Баратец! Баратец моя! Отпуст со мной, пжлст!

— Брат? — Хван на обслугу уёбанскую глянул.

Оле к сестре пошёл, прихрамывая.

— Баратец!

— Забирай своего братца.

— Спсб! Спсб! — Аля склонила голову, булыжников пола касаясь.

Оле стал помогать ей одеваться. Аля на инвалида, вместе с обслугой притулившегося, взглянула. И снова — на колени перед Хваном:

— Пжлст!

— Чего ещё?

— Дедушко! — пальца обрубком на инвалида указала.

— Чего — дедушко? — Хван недовольно губу выпятил.

— Докатор! Он Оле лечите будет! Нога!

Хван глянул на старика белобородого и безногого. Его опухоль в пол-лица вызвала у командира лёгкой брезгливости гримасу.

— Забирай и его!

Через несколько минут Аля, Оле и инвалид выбрались из развороченного взрывом входа в пещеру уёбанскую. И на лёд реки замёрзшей ступили.

Остановилась Аля. Руки к лицу прижала. Заплакала и на лёд села бессильно. Оле ей руку на голову положил:

— Ад ноупле свобода.

Вздохнул и добавил:

— Хрипонь спасибо тебе пристошон.

Аля плакала. Инвалид, от льда руками отталкиваясь, подволок своё тело.

— Хотели они, чтоб ты сплясала. А твоя пляска — свободе смазка. Так сплясать — не потрохом потрясать. Низкий тебе мормон… поркон… нет, — поклон с четырёх сторон!

Он склонил свою голову, бородой седой льда касаясь.

Аля схватила брата руку, прижала к лицу своему и разрыдалась.

— Ну, пристошон торфэ… — Оле пробормотал, носом шмыгнув.

Инвалид шапку на голову нахлобучил:

— Сделало твоё тело великое дело — оно им правду сказало, да всё рассказало, поверили они тебе, да и отпустили тебя на бролю, хролю… на

волю, потому как правда — глаза колет. Правду на хлеб не намажешь, в магазине не закажешь. Правда ночи… очи всем ест, кто окрест. А нам всем теперь — святой крест!

Инвалид перекрестился. Из пролома пещерного глухие выстрелы раздались.

— Добивают ненужных, им непотужных. Поспешимте, милые, пока не запахло завилами… давилами… могилами.

Они двинулись по льду, прочь от пещеры.

Меж тем погода испортилась: солнце, утром на небе февральском сияющее, за тучами скрылось. Ветер задул, мокрый и крупный снег принёс. Трое прошли по льду, но потом предложил инвалид:

— Надобно к железной дороге идти. Там есть пути. А тут кругом — мес, лес, деревья да зверья-поверья…

Сошли со льда и двинулись по снегу. И различили в снегу следы Геры и Жеки.

— Двое драчунов к дороге пошли! Пойдёмте за ними, пока нас не нашли! — инвалид предложил.

— Ад ноупле точно, — Оле кивнул.

Двинулись по следам.

В снегу инвалиду стало тяжело тело своё на руках перетаскивать. Аля и Оле стали помогать

ему.

Гера услышал крик Жеки уже в лесу, когда от реки отошёл пару вёрст. Остановился он, обернулся.

— Погоди! — хрипло Жека прокричал.

Гера подождал. Жека брёл, за локоть разбитый держась. Из-под шапки лицо расквашенное глядело, с глазом заплывшим. Гера сигареты достал, закурил.

— Погоди. — Жека дошёл, запыхавшись.

— Ну? — Гера холодно на него глянул.

Жека тяжело дышал молча. Пожевал разбитым ртом, сплюнул кровью на снег.

— Дай закурить.

Гера протянул ему пачку полупустую. Тот вытащил сигарету, сунул в губы распухшие:

— Огня нет у меня.

Гера зажигалку протянул. Закурил Жека. И сразу по привычке дым в рукав ватника выпустил. Гера курил молча, на Жеку не глядя.

— Давай это… в натуре… — Жека пробормотал.

— Чего?

— Ну, без обид.

Гера хмыкнул. Помолчали.

Снег, начавший падать с неба низкого, серого, густился.

— Ты к железке?
— А куда ещё?
— По их следу вчерашнему?
— Позавчерашнему.
Жека на небо глазом своим здоровым глянул:
— Валит. А коль следы завалит?
— Не завалит. Вон колеи какие.
Жека глянул под ноги:
— Ну да…
Сплюнул кровью на санный след:
— Да, бля…
Они курили молча. Жека рассмеялся устало:
— Бля… это… пиздец!
Молчал Гера, дым пуская.
— В общем, ты это, братан…
— Чего?
— Ну… благодарю.
— За что?
— За то, что меня отпиздил.
Гера смотрел, с сигаретой в зубах.
— Если б не отпиздил, не шли бы мы с тобой здесь.
Гера потянул разбитым носом. И промолчал.
— Так что… вот.
Жека руку Гере протянул. Помедлив, Гера свою протянул. Они рукопожатием обменялись.

И пошли дальше по санному следу, снегом мокрым засыпаемому.

Оле, Аля и инвалид медленно двигались по следам Геры и Жеки. Снег усилился.

Вошли в лес и остановились передохнуть.

— Мне бы эти… мрыжи… лыжи какие-нибудь, — инвалид тяжело дышащий пробормотал. — Тяжко снег месить. Это как свечи чёрныя гасить.

Оле огляделся, хромая, в лес пошёл. Аля стояла с инвалидом, разглядывая его необычное, раскрасневшееся от движения лицо с багрово-фиолетовой опухолью.

— Вы в Хабарск идти?

— Дойдём до поездов, сяду на какой-нибудь.

В Хабаровск… нет. Там ничего нет. Ничего.

— А где дом ваше?

— Нету у меня дома. А ваш дом где?

— Сгорело.

— И куда вы двинетесь?

— Не знай. Может, Красноярск. А вы куд?

— Да могу в тот же Хызыл Чар, как и ты. Не смешил ещё… не решил ещё.

Он устало скривил губы мясистые, чтобы рассмеяться, но вдруг заморгал, задёргался лицом и замер.

Аля на него смотрела. Снег падал.

Через время некоторое Оле из леса выволок макушку высохшей берёзы.

— Ад ноупле на неё торфэ, как хрипонь санки корморош.

Инвалид, побыв в неподвижности, глаза открыл.

Близнецы помогли ему залезть на сушняк, он в ветви вцепился. Оле и Аля схватились за ствол и поволокли инвалида по снегу. Он стал помогать им, отталкиваясь руками.

Пристрелив оставшуюся обслугу и забрав из укрывища побеждённых всё, что хотелось, заёбанцы сели на стальных лошадей своих и поехали от замёрзшей реки по своим следам, ведущим к Мухену.

Их походная песня наполнила редколесье, по которому двигались они.

Снег падал хлопьями крупными.

Пройдя мелколесье, в лес вошли. Когда песни походные пропеты были, запевала затянул частушки, и все подхватили:

Разнесу всю избу хуем
До последнего венца!
Ты не пой военных песен,
Не расстраивай отца!

Под горой лежит больной —
Сам стеклянный, хуй стальной.
Захотела ему дать,
Да не хочет он ебать!

Небо тёмно-серое нависло, снег гуще повалил. Но частушки петь не перестали — звучали они одна за другой в лесу хвойном между стволов тёмных.

Стало смеркаться.

Едущие попарно заёбанцы всё пели и пели частушки похабные, словно снегу и сумеркам наперекор. Когда сумерки февральские опустились на лес бесповоротно, в шею ехавшего в последней паре Артёма Браза впилась стрела со стальным наконечником. Не допев слово, он с коня свалился. Едущий рядом и успевший подремать в седле Ясык Хамаж повернулся сонно, глянуть на соседа, но такая же стрела пронзила его шею. Он повалился с лошади. И сразу же в освободившиеся сёдла лошадей железных вскочили ловкие Хррато и Плабюх. Леопардовые шкуры плотно обтягивали быстрые тела их. Из трпу заспинных выхватили они оружие — серпообразные стальные ножи, наточенные о камни речные. Острее бритвы кривые ножи Хррато и Плабюх.

Со своих сёдел с ножами в руках прыгнули они на спины двух последних всадников. Два движения молниеносных — и полетели головы с плеч всадников. Удар, другой — и вывалились трупы безголовые из сёдел. А Хррато и Плабюх — дальше, к другой паре — прыг! И снова — молниеносная работа ножей — головы вниз катятся, трупы — из сёдел вон.

А отряд всё своё поёт:

Из-за леса, из-за гор
Показал мужик топор,
Но не просто показал —
Его к хую привязал!

Приглашаем мы людей —
Офицеров и блядей.
Бляди станут воевать,
Офицеров – нам ебать!

Песня, сумерки и снег густой — быстрым белым близнецам помощники. Мелькают руки их, леопардовой шерстью обтянутые, свистят ножи беспощадные. Летят головы с плеч заёбанских.

Не за дело парни любят,
Не за белое лицо —

А за длинный хуй горбатый
И за левое яйцо!

Слышишь, вся изба трещит
С черепичной кровлею?
Это милый мой стучит
Хуем, как оглоблею!

Легко, ловко и бесшумно Хррато и Плабюх делают своё дело смертельное. Режут головы ножи их, словно коса — одуванчики. Прыгают близнецы из очередного седла опустевшего на спину впереди едущего партизана. Кони стальные, потерявши всадника, через несколько шагов останавливаются. Движется отряд поющий в сумеречном лесу, оставляя после себя на снегу головы, трупы и лошадей обездвиженных.

Командир Хван, едущий впереди отряда в паре с начальником контрразведки Лю Цзе Хьяном, щурясь от снега густого, стал замечать, что пение отряда как-то ослабевает, силу свою теряет.

“Подустали герои…” — ему подумалось.

— Наеблись парни, а? — с усмешкой глянул он на Лю.

Тот дремал, бросив поводья на луку седла живородящего и голову на грудь свесив.

“Заебли мы всё-таки этих выскочек уссурийских… — приятно и устало Хвану думалось. — Два года нам кровь портили, метались по сопкам, как лисы бешеные, норовили кусок урвать у нас из-под носа. И урывали, паскуды. В Синде полдеревни заебли, потом — Литовко. Ограбили. Кто-то стукнул им, так и не нашли кто. Экспресс заебли и ограбили. А ведь мы тоже его *хотели,* планировали, вешали *сопли.* А они опередили, суки рваные. Путались, барсуки вонючие, под ногами. Путали, лисы драные, планы наши. Но теперь — нет их больше. Нет!”

Он рассмеялся, вперёд глядя, где в лучах голубоватых, изливающихся из глаз его лошади и лошади Лю, клубились крупные, мягкие снежинки.

“Скоро до берлоги доедем, а там — тепло, парни тайваньские ласковые, заботливые. И еды приготовили, и баню истопили. А лисиц уёбанских больше нет!”

— Нет! — довольный Хван произнёс.

И прищурился, вслушиваясь: частушки подтягивал всего десяток голосов.

У папаши хуй мохнатый,
А у брата – хуй стальной.

Снова буду я брюхатой,
Не рыдайте надо мной!

Как у Ваньки-гармониста
Из села Мезинова
Раньше хуй стоял железно,
А теперь – резиново!

— Бойцы, подгяги-вай! — Хван прикрикнул.

Лю, в седле дремлющий, встрепенулся, поднял голову.

Но бойцы на призыв командира не отозвались — всё так же тянули частушку голоса отдельные. И голоса эти прорежаться стали.

“Спят они все, что ли?”

Командир оглянулся. И различил в полумраке позади себя… только шесть всадников!

И позади двух последних мелькнули… лапы звериные, пятнистые с кривыми страшными когтями.

— Дзяолю!![24] — Хван закричал, из кобуры пистолет рвя.

И жуткое узрел он: лапы пятнистые когтями этими отсекли головы бойцов так легко и страшно, словно это кочаны капусты были, а не головы

---

[24] Примечания: 24
Тревога! *(кит.)*

героев ЗАЁ. И полетели эти головы геройские вниз, вниз, вниз.

Бойцы от крика командира опомнились, за оружие хватаясь.

Но — поздно.

Звериные тела, проворные.

Прыгали и резали, прыгали и резали.

Полетели пули по ним — да где уж! От пуль увернулись черти пятнистые. И вот уже двое ближайших — есаулы Джан и Храмцов — головы свои теряют. Хван с Ли, отстреливаясь наугад, — лошадям шпоры. Прянули кони стальные — в лес, в лес. Рванули по снегу плотному, настовому.

Но —

Ромм!

Стрела Лю меж лопаток вошла, наконечником вышла. Полетел Лю из седла с криком смертельным. Хван за деревья коня направил, зигзагом, зигзагом, зигзагом.

Ромм!

В плечо левое вошла стрела. Конь вправо рванул. И не удержался Хван в седле — слетел в снег, ледяную корку наста проламывая.

Сел, пистолет в правой руке сжимая. А конь стальной после прыжка, седока потеряв, встал покорно среди елей вековых, глазами-фарами их

осветив: словно луч лунный сквозь небо мутное пробился. Отполз Хван к ели, оперся спиной, стал во тьму страшную, смерть несущую, вглядываться.

Мелькнуло.

Выстрелил.

Снова мелькнуло.

Выстрелил.

Снова мелькнуло пёстрое, жуткое.

Но не успел на спусковой крючок нажать.

Ромм!

Впилась стрела проклятая в правое плечо — больно, сильно, к ели пригвождая. Разжались пальцы, вывалился пистолет в снег.

И вышли из темноты двое двуногих. С лицами человечьими. Все обтянутые мехом леопардовым, кровью парной забрызганным. С ножами страшными в руках.

— Жив? — спросил один по-китайски.

— Жив, — Хван ответил.

— Он твой, Плабюх, — сказал Хррато на родном языке.

Сестра приблизилась к Хвану, присела на корточки. Заглянула ему в глаза.

Хван увидел перед собой лицо девушки; её голову, уши и шею покрывали мелко-курчавые белые

волосы. Фиолетовый цвет глаз её был различим даже в полумраке.

Эти глаза в Хвана вперились.

Он замер, перестав дышать.

Девушка рукой взмахнула молниеносно.

Срезанная голова командира в снег упала.

Последнее, что Хван увидел: два пятна голубоватого снега, высвеченные фарами глаз его коня.

Плабюх выпрямилась.

— Хорошая охота! — громко произнесла она на языке родном.

— Хорошая охота! — Хррато ответил.

Обтерев снегом ножи свои, они убрали их в трпу. Сбросили трпу с плеч. Хррато засвистел в свисток *умный. И* стал стягивать с себя одежду плотную, леопардовую. Плабюх последовала примеру его. Сбросив одежду, они остались голыми. И стали топтать шкуры леопардовые в снегу, от крови их очищая.

— Они не только жестокие, но и сонные, брат, — Плабюх произнесла.

— Быстрых жестоких нам давно не попадалось, сестра.

— Похоже, род их вымирает.

— Всё смешалось в их мире.

— Но они не перестали убивать друг друга.

— И никогда не перестанут.

— Даже когда полностью заснут.

— Спящие, они схватят друг друга за горло!

Они рассмеялись.

Послышался наста снегового хруст. И зову свистка послушны, показались меж стволов кони Хррато и Плабюх. Вороные, они сливались с тёмными стволами. Когда они приблизились к хозяевам, глаза их загорелись белым светом.

— Поляна! — Хррато приказал.

Кони остановились рядом, наклонили головы свои, высветив глазами на снегу круг ровный. Близнецы вступили в круг этот. И начался их танец победный. Свет яркий засеребрил их тела шерстяные. И закружились, изогнулись тела эти, танцу отдаваясь. Взбитый ими наст снежный летел в стороны, свет играл на выгибах тел быстрых, сильных. Вскрики их победные будили тишину леса ночного.

Но мелькнули последние движения. И замерли близнецы. Встали, словно друг друга впервые увидали. И шагнула Плабюх к брату. И обняла его. И он сестру обнял.

Упали они в снег. И слились в акте любовном, страстном. Тела их серебристые отдались друг другу, ноги и руки переплелись, губы к губам

прижались.

И долго в кругу света раздавались страстные стоны их.

Когда стемнело и снег повалил густо, бредущие по следу санному Аля, Оле и инвалид остановились. Следы саней заметало снегом крупным, мокрым. Весенний ветер с океана *бора* этот снег принёс. Лип он на всё, слепил глаза. Да и волочь старика инвалида на берёзе по насту тяжело близнецам стало — из сил выбились.

— Надобно ночь пережить, — заговорил инвалид. — Во тьме морогу… дорогу не сыщем. Заблудимся.

Во время пути Оле своей *умницей* подсвечивал иногда, но вскоре помощница совсем иссякла и погасла.

— Костёр бы развести, — инвалид предложил. — У меня поражалка есть. Поджигалка.

Из кармана зажигалку вынул.

Оле и Аля пошли сушняк ломать.

С трудом костёр разожгли, вокруг него на обломки берёзы уселись. Снег валил. Костёр дымил, ел сушняк нехотя. Грели руки на огне, морщились от дыма.

Ночь кругом стояла глухая, лесная.

Оле и Аля жгли костёр, сушняк подтаскивая.

Первым заснул инвалид. Обнявшись и прижавшись к инвалиду грузному, заснули и брат с сестрой усталые.

Солнечный луч на корке ледяной сверкнул. Холмик белый, за ночь выросший из снега мокрого, липкого, а к утру подмёрзший, — весь на солнце заблестел.

От ночных туч на небе и следа не осталось — чистое, высокое.

Стоят пихты и сосны, льдом словно глазурью облитые. Сверкают на солнце. У одной из пихт — заснеженный труп безглавый, стрелой к стволу пригвождённый. Рядом кулич глазированный — голова командира Хвана. Иней на ресницах его, глаза полуприкрытые в вечность смотрят.

Неподалеку две скульптуры, снежной стихией за ночь вылепленные, — кони Хррато и Плабюх. Застыли вороные, коркой блестящей покрытые, как попоной.

Всё блестит в лесу утреннем, играет в лучах солнечных.

В холмике белом — дырка талая, с каплями живыми по краю корки ледяной. Капли живые на солнце по-другому играют — алмазами.

Треснул холмик. Раздвинулась корка блестящая, ломаясь. Живая голова — белёсая, мелко-

курчавая — вылезла из холма снежного. Плабюх глаза свои открыла. И засияли они, как сапфиры, на солнце. Сощурилась Плабюх, сморщилась и — чихнула, всем телом дёрнувшись. Полетел в стороны снег и лёд. Огляделась Плабюх. И рассмеялась.

Брата толкнула:

— Солнце встало, Хррато! Пора и нам вставать!

Брат заворочался в снегу. И тут же встал, глянул по сторонам, отряхиваясь. Встала и Плабюх, брата обняла.

Ночь проспали они под снегом, телами горячими сплетясь. И было это не впервой для них. Под снегом двум родным — всегда тепло!

Справили белые близнецы нужду утреннюю, вытащили из снега свою одежду леопардовую, от крови сонных и жестоких очищенную, оделись. Закинули за спины трпу кожаные — с луком, стрелами, топором и ножами.

— Есть хочу, брат! — Плабюх сообщила громко, сосульку грызя.

— Добудем еды, сестра!

— Тёплой еды!

— Красной еды!

Хррато свисток *умный* в губы взял, свистнул. Ожили конные скульптуры ледяные, корку нарос-

шую сбрасывая. Кони вороные к своим хозяевам подошли. Вскочили в сёдла Плабюх и Хррато и тут же послали лошадей вперёд ударом пяток.

Кони вороные поскакали по снегу белому, солнцем залитому. Тени голубые от деревьев на снегу лежат — весну предвещают.

Пересекли всадники дорогу лесную. А на ней — трупы безглавые, заледенелые да лошади железные, неподвижные, парами стоящие. Мёртвое войско ЗАЁ.

— Айя-а!

— Айя-а!

Хорошая вчера была охота.

Аля проснулась от холода, до костей пробирающего. Открыла глаза свои. Солнце светило ярко, снег блестел, деревья стояли. Но свет этот тепла не добавил. Ещё холоднее Але стало внутри. Словно демон холода сжимал её сердце рукой ледяной, беспощадной.

Застонала она. Различила рядом лицо брата. Неподвижно было лицо, с инеем на ресницах.

Разлепила губы она с трудом. И произнесла слабо:

— Оле…

Молчал брат неподвижно.

— Оле. Оле. Оле!

Пошевелила Аля рукой правой онемевшей. А рука не слушается. Левой пошевелила. Зашевелилась левая рука. Взяла она левой рукой правую, положила ладонь непослушную брату на щёку. Холодная щека!

— Оле!

Стала тереть холодную щёку брата. А сама — в дрожь адскую, цепкую. Дрожь колотит всё тело. Отходит оно от сна на морозе.

— Оле! Оле! Оле!

Приникла, стала целовать брата лицо. Дохнула изо рта — раз, другой, третий. А у самой — челюсть трясётся. Дотянулась, укусила брата за ухо.

И застонал он.

Жив!

— Оле!

Стала тереть брата, обнимать да теребить. Недовольно поморщился Оле. Глаза открыл. Подышала Аля с силой на его ресницы. И растаял на них иней.

— Алька… — брат произнёс, на сестру в упор глянув с удивлением. — Мне… ад ноупле… снилось, как просторош наш дом горит. И я хрипонь выбежал морограши, а ты кричишь тормэд из дома, кричишь тормэд, а ад ноупле выйти не можешь… Алька! Нога болит…

Он обнял сестру. Они сидели, привалившись к большому телу инвалида. Лицо его было бледным, глаза закрыты. Только опухоль багровела на лице старика да снег блестел в бороде белой.

— Надо встать и… д-д-двигат… — Аля проговорила, зубами клацая.

Они стали с трудом вставать. С одежды их посыпалась корка снежная, за ночь намёрзшая. Одна из льдинок попала инвалиду в глаз закрытый. Инвалид вздохнул тяжело. И разлепил веки. Обнявшись, трясясь руками и ногами окоченевшими, Аля и Оле стояли. Попытались с места двинуться. Это было трудно — ноги и тело дрожали, не слушались.

Серые губы инвалида открылись.

Выполз шёпот хриплый из губ его:

— Ма… ша… не гори…

Олень серебристо-серый, с рогами ветвистыми, нёсся тяжело по снегу, наст пластовой круша. Хррато и Плабюх на конях своих вороных, усталости не знающих, преследовали его. Плабюх стала слева обходить оленя, на брата его выгоняя:

— Айя-а!!

Метнулся вправо олень.

Натянул Хррато тетиву живородящую.

— Ромм!

Стрела со свистом оленю в бок впилась. И словно силы ему добавила: кинулся он что есть мочи напрямки, ломанулся через кустарник, снег с рябинок, багульника да волчьего лыка на себя осыпая.

Всадники леопардовые на конях вороных за ним метнулись.

— След всё занёс, занёс след… — Аля ходила между стволов пихтовых, ища вчерашние следы, по которым шли. — Нет, нет!

Она руками всплеснула.

— Нет!

— Ад ноупле… нет хрипонь. — Согревшийся немного от движений собственных Оле ходил, прихрамывая, рядом с сестрой.

Вокруг блестел равнодушно снег.

— Надобно найти. — Инвалид сидел возле головешек, за ночь обледеневших.

Он мял руками культи ног своих, спрятанные в укороченные, кожей подшитые ватные штанины, приводя их в чувство. Борода его заиндевелая тряслась.

— Нет след! Нет след! — сокрушённо головой Аля качала. — Как идёт? Куда? Как мы доходи?!

— Замело ад ноупле вовгрэ… — Оле бормотал. — Никаких… ничего морораш…

Бормотал инвалид:

— Плохо… следов нет….

Обхватил себя за плечи:

— Бьёт меня… орбоб… озноб… не дотащите вы меня… не смогу я…

— Куд идте? — Аля ходила по снегу, по сторонам оглядываясь.

Лес красивый, равнодушный стоял вокруг.

— Ад ноупле… ад ноупле…

Оле к дереву подошёл, стал мочиться. Закончив, к сестре вернулся:

— Есть хочу.

— Нет есть! — сестра вскрикнула. — Нет дороге! Нет тепло!

— Тепло… холод… бьёт с ночи… колотит… — старик бормотал.

— Ад ноупле идти вовгрэ надо.

— Куд? Куд??

Заплакала Аля, бессильно на колени в снег упала.

— Без меня… идите… я тяжёлый… руки трясутся с ночи… — старик бормотал. — Смерть рядом… снежок-то… дружок-то… снег снегу глаз не выклюет…

И рассмеялся, трясясь.

— Куд? Куд?? — Аля плакала.

— Поездов не слыхать ад ноупле хрипонь…

Брат присел рядом с сестрой, обнял её.

— Снег снегу глаз не выклюет… погоди… глаз… глаз…

Он вспомнил что-то важное и поднял руку трясущуюся:

— Глаз! Говорый… розовый! Розовый глаз!

Аля плакала, Оле обнимал её.

Инвалид зашевелился:

— Слушайте! Помощь! Великая! Надобно просить… надобно подносить… подарок… мокровище… сокровище… дар!

Оле глянул на старика:

— Ад ноупле отморозило морморош мозги ему…

— Слушать! Сюда!! — выкрикнул старик изо всей мочи.

Аля и Оле уставились на него.

— Хотите плыть… выть… то есть жить?! Жить?!

Близнецы молчали.

— Вам помогут, — произнёс старик грозно и серьёзно.

И понял вверх палец.

— Мне так он помог. И вам поможет. И нам поможет!

Близнецы смотрели на этого странного грузного старика с заиндевевшей бородой и золотым разбитым пенсне на большом синем носу. Солнце блестело в единственном треснутом стёклышке этого пенсне.

— Надо делать, чтобы по-мо-гли!! — закричал старик протяжно.

Эхо от его голоса наполнило утренний зимний лес.

— Иди сюда! — приказал он Оле, махнув рукой властно.

Тот подошёл к старику.

— У тебя есть с собой что-то боровое… что-то дорогое?

— Ад ноупле нет денег.

— Что-нибудь? Ну, пошарь в карманах!

Оле послушно в карманах пошарил, умницу достал.

— Ад ноупле, сдохла.

— Сдохла? Это не дорогое! Это не дар! Что ещё есть? А у тебя что есть?

Аля подошла, слёзы вытирая:

— Ничег.

— Ничег! И у меня ничег! Нет! Врёшь! Чег! Чег!!

Он снял пенсне со своего носа.

— Золото!

И помахал пенсне победно:

— Есть дар!

Близнецы смотрели на него как на сумасшедшего.

— Теперь надо круг, круг сделать… нет, погоди! Равное… славное… главное забыл: кровь! Кровь белой вороны! У нас же её нет! Тогда была! А сейчас — нет! Не-е-е-ет!!

Старик закричал со злой обидой, махая пенсне.

— Кровь белой вороны! Кровь белой вороны… ммм… — застонал он и с горечью бородой затряс. — Кровь белой вороны… нет… её… ах ты…

— Белый ворона? — спросила Аля и вдруг рассмеялась, слёзы вытирая. — Я — белы ворона!

Старик непонимающе-скорбно на неё глянул.

— Я! Белы ворона! Белы ворона! — Аля расхохоталась и снова рухнула на колени. — О, белы ворона! Белы ворона! Они говорят! Белы ворона, в туалето сходи, умойсь!

— Что… она это? — недовольно старик на Оле глянул.

— Ад ноупле в школе дразнили корборан. Идиоты.

— Белой вороной?

— Да, тормез триста. Так и звали Альку ад хри-

понь: белая ворона, ад ноупле, иди сюда. Я за неё норморош дрался сливхэ…

— Ты — белая ворона?! — старик вскрикнул.

— Я белы ворона… белы ворона… — Аля смеялась, раскачиваясь. — А-ха-ха! Белы ворона! Забыл я, забыл!

Старик по карманам пошарил, но ничего не нашёл:

— Чёрт… всё порастерял, старый дурак… у вас есть что-то дострое… мострое? Острое?! Нож, булавка? Гвоздь? Иголка? Острое?!

Близнецы зашарили по карманам.

— Ад ноупле нет.

— Нето.

— Нето-нето! — передразнил он Алю и глянул вокруг.

Снял с носа своё пенсне и быстрым движением выломал из него осколок стекла.

— Вблизи и без пенсне вижу!

Сжав осколок стекла в пальцах правой руки, левой из кармана ватника скомканный носовой платок вытащил и Але скомандовал:

— Иди сюда!

Аля подошла.

— Хочешь выжить? Хочешь выйти отсюда?

— Да, хоче. И Оле хоче.

— Тогда делайте, что скажу. И не спорь! Давай руку, Белая Ворона!

Аля руку ему протянула. Он схватил её, повернул к себе ладонью и полоснул по ладони стекла осколком.

— Ай! — Аля вскрикнула.

— Терпи! — старик прикрикнул.

— Ад ноупле… — начал было Оле, но инвалид прикрикнул на него:

— Молчи!

Из пореза на ладони кровь закапала. Инвалид платок подставил и держал его под раной, пока половина платка не окровянилась.

Потом отпустил:

— Перевяжи ей руку чем-нибудь. Только быстро!

Оле снял с шеи замызганный шарф и перевязал сестре руку.

— Теперь, парень, ступай во-он туда, где поляна. И протопчи круг. Во всю коряну, поляну! Только — ровно! Ровный круг! Живо!!

— Как ад ноупле?

— Ногами! Круг! Ровный!! — старик орал, бородой тряся.

— Ну ад ноупле… — Оле нехотя пошёл на поляну, хромая, по снегу ступая.

— А зачемо? Зачемо эт? — морщилась Аля, рану потуже шарфом перетягивая.

— Затем! — сурово инвалид произнёс.

Оле круг на поляне протоптал.

— Отлично! Теперь впиши в него медувольник… нет, треугольник! Равные стороны! Равные!! Токмо равные!!

Как сомнамбула, стал Оле равносторонний треугольник в круге протаптывать.

Протоптал.

— Стой там! А мы с тобой — пошли туда!

Передвигаясь на культях, одной рукой о снег опираясь, а другой пенсне и платок окровавленный бережно на весу держа, старик к кругу двинулся. Аля — за ним. Войдя в круг, старик вытоптал культями ватными, кожей подшитыми небольшое место в углу треугольника. И на снег примятый осторожно платок положил. Затем, проковыляв к другому углу, вытоптал его и выложил на снег свою золотую оправу.

— А мы — сюда! — скомандовал он, в третий угол ковыляя. — Быстро!!

Аля и Оле подошли к нему.

— Садитесь!

Близнецы рядом с ним в снег сели.

— Теперь, билые мои… стилые мои… милые

мои, — зашептал он хрипло, волнуясь, близнецов обнимая, — надобно нам, нам надобно… надобно нам всем… глаза закрыть!

Но не успел он произнести это, как, громко наст круша, справа от них, среди стволов пихтовых показался олень серебристо-серый: рот окровавленный открыт, глаза безумны, в боках три стрелы торчат.

— Ромм!

Подоспела-свистнула четвёртая стрела, пронзила шею зверю. И рухнул он в снег со всего бега, перевернулся, лёг и в изнеможении голову рогатую поднял.

А за оленем поверженным выскочили двое всадников на чёрных конях в одеждах леопардовых с белыми головами. Подъехали к оленю. Один из них убрал за спину лук затейливый, из гнутых ветвей сплетённый.

— Плабюх, перережь ему горло! — громко приказал один из всадников на своём языке.

Сидящая рядом с инвалидом и братом Аля услышала слово знакомое.

— Плабюх? — произнесла она.

Оле и инвалид смотрели на всадников и оленя. Всадники заметили сидящих на снегу.

— Плабюх и Хррато! — громко произнесла Аля,

вспомнив книгу.

Всадники замерли в сёдлах.

Аля узнала их, героев книги, которую ей разные люди читали.

— Плабюх и Хррато! — выкрикнула она. — Я вас знай!

И рассмеялась.

Всадники сидели, замерев.

— Вы… сильный! Быстрый! Вашу мамо убил медведо! Плабюх и Хррато! Убиват медленных и жесток! Да?

— Бог с ними… это… не надо… это не помеха… не помеха… пусть скачут своей дорогой… — инвалид сощурился на всадников, сильнее близнецов обнимая. — Не теряем время! Закрывайте глаза! Быстро!

Аля, Оле и инвалид глаза закрыли.

— Открывай! — инвалид скомандовал.

Открыли они глаза свои.

В центре круга, хромым Оле протоптанного, сидел белый ворон. Он был раза в два больше обычного ворона. Его розовые глаза со зрачками чёрными смотрели неподвижно. Сидящим на снегу и в седлах показалось, что ворон мраморный.

Появление белого ворона заставило всех, кроме

инвалида, оцепенеть.

Он же затрясся мелкой дрожью радостной.

Глаз ворона моргнул.

Ворон посмотрел на сидящих в круге. И пошёл на своих когтистых лапах, наст блестящий не проламывая. Одна из лап ворона была поменьше другой. Он дошёл до платка окровавленного. Глянул на него. И клюнул его своим клювом белым, загнутым на конце. Щёлкнул клювом. Снова щёлкнул, внимательно поглядывая. Наступил лапой на платок. И стал клевать кровавую ткань, выдирая кусочки и проглатывая их.

Сидящие на снегу и в седлах, замерев, на ворона уставились.

Инвалид дрожал, всхлипывая и бородой потрясая.

Выклевав всю часть платка окровавленную, ворон посидел, клювом щёлкая. Потом пошёл в другой угол треугольника. К пенсне золотому, на снегу лежащему приблизился, глянул. Глазом моргнул.

И схватил пенсне клювом.

Постоял на месте.

И к третьему углу двинулся, где сидящие сгрудились.

Подошёл к ним с пенсне в клюве. Уставил на

них розово-чёрный глаз свой.

Инвалид с трудом губы дрожащие разлепил, набрал в лёгкие воздуха.

И проговорил чётко и громко, стараясь не дрожать ни бородой, ни голосом:

— Мы хотим домой!

Ворон сидел, на них глядя. И вдруг крылами белыми, большими, сильными взмахнул, сидящих воздухом морозным обдавая. Вверх взлетел. Описал круг над поляной, пролетел чуть в лес, сел на сук пихтовый. Сидел белый в тёмной пихте. Солнце блеснуло в его глазу и на золоте пенсне.

— За ним… за ним! — прохрипел инвалид, волнуясь сильно и приподнимаясь.

Аля и Оле, потрясённые, на снегу сидели.

Плабюх и Хррато — в седлах.

Только хрип и кашель кровяной смертельно раненного оленя раздавался в лесу утреннем.

— Вставайте! — Инвалид стал тормошить близнецов.

Но они сидели словно парализованные.

— Вставайте!! Он путь покажет! Домой!

И стал приподнимать Оле и Алю. С трудом они встали. Схватив их за руки, заковылял по снегу к ворону. Тот дождался, пока трое ближе подошли, снялся с ветки, пролетел и сел на сухой сук

сосновый.

— За ним! Только за ним! — старик радостно вскрикивал, близнецов таща.

Сидящие в седлах Плабюх и Хррато провожали их взглядом напряжённым. Всё произошедшее на этой поляне лесной лишило их дара речи и подвижности.

Первой пришла в себя Плабюх.

— Они знают нас. И знают про маму.

Хррато, как зачарованный, следил за уменьшающимися фигурами трёх людей, идущих по лесу. Ворон в тёмной хвое был еле виден. Подождав, он опять с ветки снялся и дальше полетел.

— Они знают про маму! — громко, с укором произнесла Плабюх и задышала, задышала носом. Сапфировые глаза её слезами наполнились.

Хррато молчал. Потом произнёс:

— Они… они…

И затряс своей головой белой так, словно что-то не так сделал.

Олень хрипел, лежа в снегу, кровь капала с его губ.

— Убить их? — спросил Хррато, как будто в забытьи.

— Нет! — Плабюх выдохнула и замотала головой. — Нет, нет, нет!

Из глаз её слёзы брызнули.

Хррато руки свои поднял и бросил вниз бессильно:

— Я… я… не знаю… не понимаю ничего…

Плабюх плакала беззвучно, теряющиеся в лесу фигуры сквозь слёзы еле различая.

— Я не знаю… что это, — Хррато произнёс. — И птица.

— Ворон… ворон… — Плабюх всхлипывала. — Белый. Как… камень в ручье нашем… помнишь, мамин ручей?

— Да.

— Там… камень. Белый-белый. Был. Снега белее. На птицу похожий!

— Да, помню.

— На птицу? Да?

— Да, на птицу!

— Да! Да! — вскрикнула Плабюх и коня пришпорила.

Конь из чёрного пластика живородящего с мотором стальным с места взял лихо, снег плотный копытами титановыми молоча. Хррато своего пришпорил.

Они быстро трёх людей догнали. Люди шли по лесу за вороном. Который взлетел с берёзы и полетел вглубь леса. И сел на пень пихтовый.

Трое пошли к нему, наст круша. Они торопились за птицей, но у них плохо получалось: инвалид грузный, пузатый ковылял, в снег проваливаясь, за парня и девушку держась. Парень прихрамывал.

Хррато и Плабюх пустили коней шагом за троицей. Но те даже не оглянулись. Их взоры на ворона устремлены были. Ворон дождался их, взлетел с пня, дальше полетел. Пенсне желтело у него в клюве. Трое спешили за ним.

Плабюх пустила коня своего рядом. Девушка и парень глянули на неё равнодушно. Она же жадно вглядывалась в лица их. Эти лица что-то несли в себе. Важное. И оно касалось их с Хррато. Она не могла понять — что это? Сердце её билось сильно.

Хррато хотел что-то сказать, но снова бессильно руки свои поднял и бросил.

Ворон взлетал и садился. Садился и взлетал.

Трое шли за ним. Плабюх и Хррато — за тремя.

Наконец инвалид из сил выбился. И на снег опустился, дыша тяжело.

— Не могу… ой… мочи нет… — пробормотал он загнанно. — Идите вы за ним. За ним! А я тут… тут…

Он в снег навзничь повалился. Лицо его, опухо-

лью обезображенное, раскраснелось. Не отрывая взора от ворона, сидящего поодаль на ёлке, Аля и Оле остановились. Руки их вцепились в ватник инвалида, потянули. Но сдвинуть грузного старика с места сил уже не было.

— Ну… ну же! — Аля нетерпеливо тянула его.

— Сами, сами… он вас приведёт…

— Ад ноупле… — Оле бормотал, силясь старика поднять.

Но тщетно.

— Ну… так же не надо! — Аля взвизгнула. — Надо идёт за ним!

— Сами, сами… я тут…

— Идёт за ним!

Хррато и Плабюх следили за этой сценой, в сёдлах сидя.

“Камень белый в ручье на птицу похожий мама говорила вот птица белая в воде лежит лежит а потом взлетит и полетит по лесу полетит полетит и всем нам добрый путь покажет.”

“Камень в ручье тот камень он как птица был и мама однажды сказала смотрите вот этот камень белый это птица она тут будет лежать и спать а потом когда время придёт проснётся вылетит из воды полетит и покажет верный путь.”

— Я останусь тут, — инвалид произнёс, в небо

глядя.

— Нет! Надо идёт! Ну же!! — бессильно Аля закричала.

— Ад ноупле торфэ… торфэ! — тянул инвалида Оле, кряхтя.

И тоже упал, оступившись.

— Ну же! Ну же!! Он же ждёт!!

Ворон мраморной фигуркой белел в хвое густой, людей ожидая.

— Ну же!!!

И вдруг, не произнося ничего, Хррато вниз с седла свесился, в инвалида вцепился и единым рывком могучим это тело грузное, ватно-засаленное, уставшее поднял и усадил на коня в седло, сам моментально на круп вороной сдвигаясь.

Аля и Оле рты открыли. И не успели они закрыть их или сказать что-то, как сильные, обтянутые мехом баргузинского леопарда руки Плабюх схватили Алю и усадили на коня впереди себя. Затем схватили Оле и усадили на лошадиный круп.

— А… что? — инвалид произнёс, косясь на необычное лицо Хррато.

Но вместо ответа тот пришпорил вороного коня своего.

Часть III
Milklit

Пространство грозы неотвратимо наползало на Телепнёво со стороны Рябого леса.

Дождь, о котором уже месяц говорили в поместье и судачили в деревне, долгожданный, столь необходимый людям, животным и природе июньский дождь, выслал своим предвестником сильный ветер, поднявший пыль с дорог, заколыхавший бордовые мальвы в деревенских палисадниках, спутавший русые волосы деревенских ребятишек и закачавший могучие кроны дубов приусадебной аллеи. И сразу же за порывами ветра послышался дальний раскат грома — совсем дальний, несильный, словно усталый выдох великана Святогора, спустившегося со своих великих гор в долину к людям и улёгшегося на поля отдохнуть.

— Похоже, гроза идёт? — вопросительно произнесла Вера Павловна, расставляя собранные на лугах цветы в старую французскую вазу с потрескавшейся бледно-голубой эмалью.

На террасе кроме неё никого не было. Овальный

стол всё ещё был покрыт бело-розово-сире-евой скатертью с бледным коричневым пятном: Глеб за завтраком в очередной раз опрокинул чашку какао. Пятна на скатертях Веру Павловну никогда не смущали. Зато Ольга Павловна ещё за завтраком громко потребовала у Даши, чтобы та постелила свежую скатерть, негодующе глядя на племянника, который, как всегда в таких случаях, шептал что-то своими пухлыми, всегда обидчивыми губами и смотрел так, словно всем своим видом говоря: “Вы все такие глупые люди и ничего не понимаете в этом мире, как же мне скучно с вами!” Но и Даша традиционно не спешила выполнять распоряжений Ольги.

— Неужели польёт? — снова спросила Вера и, не прерывая своего занятия, глянула на красивый старинный оконный переплёт веранды.

Там плющ и дикий виноград взбирались на веранду с северной стороны. За ними ничего не было видно. Гром пришёл с севера.

— Ох, хорошо бы! — заключила Вера, взяла салфеткой зверски колючий и потрясающе красивый татарник и с осторожностью, чтобы не уколоться, водрузила его в центр букета.

В распахнутой, ведущей с террасы в дом двери послышались знакомые тяжело шаркающие

шаги, и на террасу вошёл грузный пучеглазый и безбородый повар Телепнёвых — Фока. Одутловато дыша, словно он только что тяжко и долго пахал землю, повар уставился на Веру своими страшными глазами.

— Вера Павловна, когда нынче обед подавать?

Голос повара был высоким, почти женским.

— Как всегда, в пять, — ответила она, стараясь не смотреть ему в глаза. — Мы же всегда в пять обедаем.

— В пять, конечно, а как же! — Повар приподнял свои могучие, полные, неизменно голые по локти руки. — Так ведь гости же! Я подумал, может, нынче другим часом аппликация намечена?

“Он похож на утопшего мельника…”

Несмотря на внешнюю грузность и неуклюжесть, повар любил выражаться витиевато, употребляя неизвестные ему слова. Он шесть лет проработал в московских трактирах.

— Фока, вы же знаете, что время обеда в нашем доме меняется только по праздникам, — спокойно произнесла Вера, глядя в потный маленький лоб повара, пересечённый глубокой продольной, похожей на овраг морщиной. — Сегодня разве праздник?

Повар всплеснул увесистыми ладонями:

— Так нет же, конечно, нет! Но я подумал… я ж опасался, что временная оппозиция… она же может поменяться, как ни крути!

— Фока, — улыбнулась Вера, — ступайте на кухню и ничего не опасайтесь. Никакой временной оппозиции.

“И ведь верит в то, что несёт, верит всегда… ”

В отличие от мужа и Ольги, Вера Павловна всей прислуге говорила “вы”. Складка на лбу повара зашевелилась. Глаза его выпучились сильнее, словно он проглотил лягушонка:

— Простите мою абрербацию, Вера Павловна! Я же как лучше хочу!

— Хорошо. Вам всё ясно с меню?

— Всё как в аптеке, Вера Павловна: паштет, заливное, сельдь под шубкою, шейки раковыя, уха! Оксане пироги с утреца заказал, выпечет в лучшем виде!

— Прекрасно. Ступайте.

Повар развернул своё медвежье тело, чтобы выйти.

— Погодите! А форшмак?

— А как же-с?! — Он угрожающе развернулся к ней, обдавая запахом пота, которым от него всегда разило. — Селёдочку уж провернул!

“Негодует… но помнит всё…”

Складка-овраг на его лбу обиженно изогнулась. Вера посмотрела на его мясистый, блестящий от испарины подбородок.

— Прекрасно, Фока. Ступайте.

Повар вышел, тяжко шаркая.

“Медведи живут среди людей… и мы с этим давно смирились…”

Вера Павловна поставила в вазу лежащие на скатерти три стеблинки ржи и отстранилась, любуясь букетом.

— Tresbien…

Букет был красив. В отличие от сестры Ольги, Вера совершенно не разбиралась в названиях полевых цветов и трав. Она знала только пижмы, мать-и-мачеху, клевер да зверобой. Но глаз был у неё превосходным, а вкус — отменным. Букет, как всегда, получился совершенным. Три резных листа папоротника окружали колокольчики, сурепку, львиный зев, куриную слепоту, иван-чай, клевер, ромашку, аистник, васильки, лютики, мяту, пижмы, кукушкины слезы и пастушью сумку.

“Как я хорошо собрала… всё есть в природе… потрясающее разнообразие… если ты различаешь… а чего ты не различаешь — нет и никогда не было…”

Раз в неделю после завтрака Вера Павловна

уходила на дальний луг и собирала букет. Пора сенокоса ещё не пришла, и травы росли, набирая силу.

Налюбовавшись своим произведением, она подняла вазу и переставила на центр стола, согнувшись в пояснице. Узкий летний жакет и длинная юбка подчеркивали стройность Вериной фигуры. Она скомкала салфетку и сунула её в кармашек жакета.

“Вот. Букетик. Назову его…”

— Радость лета. Или просто — радость. Или… радость № у.

“Седьмой в этом году”.

Снова послышался гром.

Вера сошла с террасы по крыльцу, ступила на тщательно выкошенный газон и глянула на север. Там уже темнело. Налетел порыв сухого ветра, зашелестел юбкой. Соринка попала в глаз. Моргая и потирая веко, Вера направилась к соснам. Между ними висел гамак, и в нём лежала французская книга, толстый роман “Les Bienveillantes”, который она сейчас читала.

Когда соринка сморгнулась, Вера снова глянула на небо.

“Скоро гроза, судя по всему. Не перейти ли читать в мезонин?”

— Ещё не скоро… — пробормотала она и, подпрыгнув, легла в гамак.

Взяла роман, открыла страницу, заложенную ещё не высохшей веткой рябины. Прочитала абзац и, заложив страницу пальцем, откинулась на телячью шкуру гамака.

“Отчего люди так много и часто убивают друг друга? Это уже даже не традиция, а какой-то оброк, повинность… убить ещё миллион себе подобных… то есть — самих себя… мы убьём ещё миллион самих себя в этом месяце… и миллион в следующем… убьём… убьём… и тогда на земле наступят гармония и порядок… нет… равновесие… рав-но-весие… равновесие абсурда… и это вовсе не жизнь, Оленька…”

— Нет!

Она подняла увесистую книгу и шлёпнула ей себя по бедру.

“Петя недавно сообщил, сколько дней смогло человечество прожить без войн: пять… это ужасно, но это правда… Оля скажет, скажет просто: Веруша, это жизнь… это жи-и-и-знь… она всегда так говорит… Веруша, это жизнь… никакая это не жизнь… это убийство… оно очень хочет стать частью жизни, это тянется со времен Каина, но это не жизнь… убийство, смерть — это не жизнь,

как бы меня Петя ни уговаривал… восток, буддизм… колесо сансары… это чужое… чуждое… мы христиане… люди не хотят умирать… и не примут смерть никогда… буддисты принимают её… или делают вид… но у них тоже содрогаются сердца, когда смерть подступает… и неправда, что они принимают смерть с улыбкой…”

— Не верю.

“Вера не верит…”

— Вера не верит!

Она с силой стукнула себя романом по бедру. И сразу ударил гром. И — раскатился, загремел уже ближе. И слышно было, как звякнули окна мезонина.

— Пойду-ка я туда.

Выскользнув из гамака, она пошла к дому. Ветер стих. Туча на севере сгущалась, темнела и приближалась.

“Гроза… как хорошо… деревенские огороды сохнут, наши тоже… огурцы поливают и поливают… а луг такой сухой, горячий…”

Но ноги не шли к дому. Вера свернула возле стола для пинг-понга и пошла в малый сад.

Он был прелестным. Им занималась Ольга, только сама, никого не подпуская к своему детищу. Несмотря на месячную сушь, сад пленял

роскошью. Его обильно орошали. Пионы, ирисы, лилейник, гладиолусы буйствовали. Розы уже начинали раскрываться. Их было много, много разных роз с сочными разноцветными бутонами.

“Наша Оленька любит флору… ”

Зажав тяжёлую книгу под мышкой, Вера двинулась по дорожке сада, усыпанной морской галькой. Здесь всё было чисто, почти стерильно; ни одного сорняка не виднелось между кустами растений. Клумба играла цветовыми пятнами. Каменный пан восседал в её центре, играя на каменной свирели. Его лукавый каменный глаз уставился на Веру.

“Оля несчастлива в любви, но так совершенна в цветоводстве… это всё… как любовь… уверена, этот роман её тоже кончится ничем… или уже кончился… они видятся всё реже…”

— Ничем. Любовь и розы…

Вера наклонилась и понюхала раскрывшуюся тёмно-пурпуровую розу. Она совсем не пахла. Сделав пару шагов по хрусткой гальке, Вера склонилась над лопнувшим нежно-розовым бутоном. Он пах как духи. И бледно-жёлтый тоже пах.

— Incroyable…

“Оленька, спасибо тебе… у нас бы это всё зарос-

ло лопухами… ”

— Наше вам почтеньице, Вера Павловна! — раздалось сзади из дальнего сада.

Вера оглянулась. Между рядами вишнёвых деревьев виднелись две знакомые фигуры — садовники Семён и Маша. Он — высокий, узкоплечий, русобородый, со всегда приветливым загорелым лицом — снял соломенную шляпу и помахал ею. Тоже высокая, крупнотелая, краснолицая Маша склонила повязанную белым платком голову.

Вера ответно махнула рукой.

— Гроза, похоже! — крикнул Семён.

Улыбаясь белыми зубами, он стоял со шляпой в руке.

“Провансалец вылитый… нет, ирландец…”

— Гроза! — громко произнесла Вера.

— Давно ждём! — крикнула Маша, закрываясь ладонью от солнца, которое ещё не поглотила туча с севера.

Вера кивнула и с улыбкой пошла дальше по саду.

“Живут счастливо… любят свою работу… Петя хорошо им платит… сто шестьдесят рублей…”

Среди цветочных кустов из земли торчали розетки леек.

“Вода… всем нужна…”

Рядом затрещала сойка.

“Птицам тоже…”

— Птички воду пьют, — пробормотала Вера и вспомнила стрижей, с лёту пьющих воду из фонтана. В конце сада стояла ещё одна каменная фигура: богиня Флора с венком из железных роз и лилий в руках. У ног её кишели анютины глазки.

Солнце скрылось. И сразу всё стихло и потемнело кругом.

“А вдруг мимо пронесёт? Засуха месяц стоит… сухое лето… грибов в лесу совсем нет, бабы говорят…”

Вера посмотрела на тучу и поняла: не пронесёт. Но в дом по-прежнему не торопилась. Под серой низкой тучей было как-то необычно, напряжённо, значительно, и в этом был особый покой.

— Хорошо! — громко сказала Вера нависающему серому небу.

И сразу подметила, что её голос из-за серой громады звучит глуше.

Прижала книгу к своей небольшой груди и вышла из сада. Справа уже начинался большой сад с рядами яблонь, вишен и слив. Слева тропинка вела к фонтану. Вера пошла по ней. Дорогу ей стремительно и бесшумно перебежала одна из трёх Олиных кошек — чёрно-белая Виперия. Из

собак в доме никого не осталось — неистовый Пират попал под выстрел на полевой охоте, Лётка умерла от чумки.

Фонтан был старым, замшелым, и струя уже давно не била изо рта радостного каменного дельфина. Тёмная, зацветшая вода стояла в огромной бетонной раковине, на дне росли водоросли.

— Здравствуй, весёлый дельфин! — произнесла Вера и тут же вспомнила цветок дельфиниум из Ольгиного сада.

“Оля равнодушна к фонтанам и вообще к воде… плавает всегда неохотно… поэтому и заросло всё так… жаль… а всё-таки, почему люди так часто убивают? Der Wille zur Macht?”

Она смотрела на зелёную воду. Из неё на замшелый край раковины выпрыгнула лягушка. И застыла, словно каменная.

“Чует грозу…”

Вера пошла вокруг фонтана.

“Мы называем убийство преступлением… преступление… преступить черту… но кто проложил её? Бог? Люди начали убивать сразу, как только появились… библейская жизнь — сплошь убийства… Каин сразу забил Авеля ослиной челюстью… но даже если, как Петя, верить в эволюцию, то человекообразные тоже убивали…

убивали себе подобных… как та самая кость Кубрика… раз — и полетела… и уже это космический корабль… а началось с убийства…”

— Но почему же их так много?! — Вера стукнула книгой по замшелому бетону раковины.

“Есть вещи, которые ускользают от моего понимания…”

— Ich verstehe gar nichts.

Лягушка сидела на камне. В тёмной воде показалась маленькая рыбка.

“Глебушка говорил вчера, что с утра пойдёт на рыбалку… на ближний пруд… а может, на запруду? Это три версты… под грозу попадёт… ”

— Ах ты! — Она быстро пошла к дому.

“Промокнет… да и молнии тоже…”

И, словно следуя её мысли, сверкнуло вверху. И через несколько секунд ударило, раскатилось грозно, глухо.

— Глебушка!

Вера побежала к дому.

“Кто знает, куда он пошёл? Семён! Они же с ним часто стреляют… ”

Она свернула в большой сад, но знакомых фигур садовников там не оказалось.

— Где же они?

Она побежала между молодыми яблонями,

потом между старыми.

— Семё-ё-ён! — звонко крикнула она.

А наверху так вспыхнуло и тут же ударило, что она остановилась, прижимая книгу к груди.

“Они у себя в домике… но туда ещё бежать и бежать… в конец сада… нет… не успею…”

— На конюшню!

Она бросилась на конюшню. Снова налетел ветер — сухой, яростный, с пылью и песком. Прикрыв лицо книгой, как козырьком, она бежала, глядя под ноги. Конюшня с домом конюха были за скотным двором. Здесь всё было в пыли и в сухих коровьих лепёшках. Вера побежала вдоль скотного.

“Какой же длинный… длинный…”

Запыхавшись, взбежала по узкому крыльцу конюха, рванула ручку обитой дерматином двери, вошла в тёмное, пахнущее деревенской избой пространство.

“А если уехал? Не должен вроде… некуда… ”

Бородатый щуплый конюх сидел в темноте избы за столом возле печки и пил чай. Его маленькие глазки с испугом уставились на вошедшую Веру, руки замерли с блюдцем на весу.

— Тимофей… — выдохнула она, переводя дыхание.

Конюх стал подниматься из-за стола, держа блюдце с чаем.

— Тимофей… запрягайте коляску, поезжайте к запруде за Глебом.

Конюх открыл маленький рот. И не двигался. Снаружи снова ударил гром.

— Поезжайте! — выкрикнула Вера.

Он быстро поставил блюдце, рванулся из-за стола, опрокидывая стул, и пробежал мимо Веры так, словно её и не было в этой тёмной, пахнущей печкой и квашнёй избе. Пробегая, он задел плечом книгу, и та выскользнула из Вериных рук и упала на пол. Не поднимая её, она вышла из избы.

Снаружи совсем стемнело и с неба потянуло холодом. Конюх исчез в воротах конюшни. Вера поспешила туда, сдерживая себя.

“Всё хорошо… всё хорошо…”

Когда вошла, он уже подводил каурого жеребца к коляске, держа в левой руке хомут. В конюшне всегда пахло одинаково — сеном и лошадьми.

— Гроза идёт сильная, — заговорила Вера, беря себя за локти. — А Глебушка на рыбалку ушел.

— Ясное дело… — пробормотал Тимофей, ловко начиная запрягать.

— На запруду.

— На запруду? Там дерев нетути, укрыться негде. На нашем пруде-от липы, а тама — гольё.

Он быстро запряг, надвинул на коляску верх из прозрачного пластика, вскочил на облучок, подобрал вожжи, выдернул короткий кнут из латунного раструба.

— Примитесь, барыня!

Вера посторонилась. Конюх громко чмокнул губами, шлёпнул вожжами жеребца по спине. Тот сразу взял резво, и коляска выкатилась из конюшни.

Вера вышла следом. На дворе было темно, как ночью. Ветер стих, и вокруг стояла предгрозовая тишина.

“А точно ли Глебушка на запруде?”

Вера остановилась возле распахнутых ворот конюшни.

“А если он на ближнем?”

— Кто знает?

Она пошла вдоль скотного двора и хлева.

“Что он сказал за завтраком… пойду половлю с Митяйкой… но куда? Митяйка наш деревенский… до запруды три версты… они там ловили третьего дня, поймали всего пару карасиков… пойдут ли они опять туда?”

— Вряд ли. На наш пруд пошёл!

“Там встанут под липы, переждут… а если ливень долгий? Надо пойти к нему… Тимофей не догадается туда завернуть… или догадается?”

— Всё равно! Пойду!

Вера побежала к дому. Крикнула:

— Даша!

Никто не отозвался.

“На кухне, Борису помогает… ”

Она взбежала по лестнице, открыла застеклённую молочным стеклом дверь, выхватила из корзинки возле вешалки самый большой зонт, присела, сунула туфельки в серые боты, застегнула большие чёрные кнопки. Сбежала по лестнице и быстрым шагом поспешила к пруду.

Ближний пруд находился за Бородатым бором. Это был остров старого, замшелого ельника с поваленными гниющими стволами, огромными мшистыми пнями, поросшими поганками, с горами хвороста, который никому не был нужен — в доме топили исключительно берёзой и ольхой.

В сгустившемся сумраке старый бор встал перед Верой совсем тёмной, беспросветной стеной. И сверху упала первая капля. Затем — вторая, третья. Тяжёлые капли стали падать вокруг на притихший мир.

Вера вошла в бор. В нём стояла темень непро-

глядная. И было сухо, несмотря на кочки тёмно-зелёного пушистого мха. И никакие капли тут не падали. Держа в руке нераскрытый зонтик, Вера пошла по тропинке, мягкой от мха и опавших еловых игл. Боты её ступали как по бабушкиной пуховой перине, на которой маленькая Верочка любила попрыгать, а потом упасть навзничь. Шишки в изобилии валялись вокруг.

Вера вспомнила их рождественскую ёлку с серебристыми шишками.

“В лесах игрушечные волки глазами страшными глядят… он точно на ближнем…”

В бору было очень темно. Только поганки да грузди белели в сумраке. Вера пошла быстрей, огибая знакомые пни и переступая через знакомые стволы полусгнивших деревьев. Мягкий мох колыхался под ногами. Вдруг наверху полыхнуло так, что высветило белым весь бор изнутри, со всеми елями, с каждой веткой и хвоинкой. И ударило — мощно, раскатисто.

“Никогда грозы не боялась… почему?”

— Вот почему, — произнесла Вера, переложила зонтик в левую руку, а правой перекрестилась на ходу.

Наверху послышался шум, словно включили миллион вентиляторов. Шум усилился. Вера по-

няла, что дождь пошёл. Но здесь, в тёмном, сухом и мягком полумраке, не упало ни капли.

“Там липы вокруг пруда, укроется под липами, Тимофей прав… так и будет… он у меня сообразительный мальчик…”

Она споткнулась о корень и упала на мягкую хвою. Под руками оказались всё те же шишки и мох. Сидя на хвое, она глянула вверх: темнота. Шум ширился. И капли стали падать в бору.

— Не стоит рассиживаться…

Вера встала и двинулась дальше по тропинке. И вдруг с ходу наткнулась на что-то плотное, невидимое, словно путь ей преградила невидимая стена. Зонт выпал из рук.

“Господи… что это?”

Она ощупала ладонями то, во что упёрлась. Это была невидимая стена, ровная и упругая на ощупь.

“Мягкий? Здесь?.. Почему?”

Полыхнула яростно молния, снова высветив весь бор, и Вера увидела перед собой гигантский *мягкий* куб из прозрачного живородящего пластика. Широкий, метров пятьдесят, и высокий, выше вершин старых елей, он стоял в бору. Поглощённые им ели, высвеченные молнией, казались погружёнными в стекло. Но это было не стекло.

Гром раздался наверху, и тьма снова вернулась. Вера вспомнила, что её зонт умный. Она подняла его.

“Давно бы догадалась…”

— Свет! — скомандовала она, и на наконечнике зонтика вспыхнул холодный яркий свет.

Отойдя назад, Вера осветила громадину. Куб высился и ширился, некоторые ели были наполовину или на четверть скрыты в нём, некоторых ветвей он едва коснулся.

“Почему он ползёт в лесу, а не в поле? Странно…”

Она подошла, положила руку на идеально ровную поверхность куба. Толкнула. Грань куба слегка завибрировала, как желе. Постояв, Вера почувствовала, куда двигается куб. Он полз по лесу бесшумно, глотая всю попавшуюся на пути растительность, проходя через неё и никак ей не вредя.

“Творятся странные вещи у нас в Телепнёво…”

Освещая себе дорогу, Вера обошла куб, нашла тропинку и двинулась по ней. Вскоре впереди показался просвет. Дождь превратился в ливень, струи пробивали бор и падали на Веру.

Зонт раскрылся. Луч вспыхнул внутри его, освещая Вере тропинку. Ельник стал редеть. Вера

шла по знакомому пути — слева пень, похожий на горбатого гнома, справа расщеплённый ствол ели, под ногами захрустели гнилушки. Ельник стал молодеть и редеть.

И в сотый раз Вере вспомнилось:

“В паутину рядясь, борода к бороде, жгучий ельник бежит, молодея в воде…”

Ливень ударил по зонту.

— Хляби небесные…

Шлёпая ботами по воде, Вера вышла из ельника. Лило сплошной белой стеной, так хлюпало и шумело вокруг, что ничего не было видно.

— Где же мой мальчик? — Вера осмотрелась, сжимая пальцами трясущуюся палку зонта.

Пруд был впереди, а слева различались силуэты четырёх старых лип. Вера направилась к ним.

“Какой сильный дождь… потом прямо потоп… ”

Под липами никого не было.

“Всё-таки он на запруде…”

Она вошла под липу. Здесь лило немного. Старое дерево защищало от ливня. Листья, принявшие на себя удар стихии, гудели.

— Мам! — раздалось сзади.

Вера обернулась. Под другой липой с удочкой и пластиковым ведёрком стоял её сын.

— Господи! Глебушка!

Она перебежала к нему. Глеб смотрел на мать насмешливо-обиженно, оттопырив пухлые губы. Волосы на его голове были мокры.

— Промок! — Она вытерла ладонью его лицо. — Мы думали, что ты на запруде, я Тимофея туда послала.

— Чего там делать-то? — с обидой проговорил он. — Рыбы нет совсем. А у нас — во.

Он показал ей ведёрко. В нём плавали два окунька и ёрш.

— Какой ты у меня герой! А где же Митяйка?

— В деревню побежал, дурак. Сказал, отец запорет за опоздание. Дурак. Не пойду с ним больше рыбалить.

— Бог с ним… — Вера вытирала голову и лицо сына. — Пошли домой.

Мать взяла у сына ведро. Они пошли, укрывшись зонтом.

— Весь ты промок, Глебушка…

— Ну и чёрт с ним.

— Не ругайся.

Но не успели они отойти от лип, как из стены ливня выехала коляска Тимофея.

— Ах, слава Богу, догадался! — воскликнула Вера, обнимая сына.

Тот шмыгнул носом.

— А вот и мы! — выкрикнул Тимофей из-под своего прозрачного навеса-козырька.

— Спасибо, Тимофей! Как славно, что вы заехали!

— А как же ш?

Конюх спрыгнул с облучка, стал помогать им усесться в коляску.

— На запруде глянул — токмо лягушки квакают!

— Там сроду лягушек не водилось, — пробурчал Глеб, усаживаясь со своей удочкой. — Там — раки. А у нас даже рачевни нет…

— Как же славно, как хорошо!

— Всё как надобно, Вера Павловна!

Ливень заглушал голоса людей.

— Тимофей, садитесь, а то насквозь промокнете! — выкрикнула Вера.

Конюх вскочил на облучок, накрылся, дёрнул вожжи. Коляска покатила, разбрызгивая воду.

Дома Вера сразу повела сына в ванную комнату переодеваться. Сняла с него мокрую куртку с рубашкой, ботинки, носки, штаны.

— И трусики снимай.

Глеб отвернулся, стянул с себя трусы. Вера накинула ему на плечи махровый халат.

— Чтоб не простыть, выпьешь горячего чаю.

— Не хочу я чая, — буркнул Глеб.

— Непременно выпьешь! С мёдом. Не спорь с мамой.

Она стала развешивать его вымокшую одежду на полотенцесушителе.

— Промок? — в приоткрытую дверь заглянула Ольга Павловна.

С Верой Павловной они были близнецами. В отличие от коротко подстриженной сестры, Ольга носила длинные волосы и красила их в серебристо-русый цвет.

— Рыбку удил, — ответила Вера, оборачиваясь.

— Поймал чего?

— Поймал, — буркнул Глеб, не глядя на тетю.

— Молодец! — хлопнула в ладоши Ольга. — Слава опрокидывателю чашек с какао! Слава в ве-е-е-ках!

Глеб угрюмо шмыгнул носом.

— Оля, ты становишься однообразной, — сказала Вера.

— Меня это не пугает.

— Зато меня настораживает.

— Однообразие для меня — предсказуемость и рациональность. Тебе же скучна рациональность, правда? Ты хочешь родимого хаоса.

— Я хочу толерантности.

— Ух, какое старомодное словцо!

В ванную комнату вбежал рыжий кот Малю-та. Ольга подхватила его на руки:

— Куда, разбойник?

Вера подошла к сестре. Всё, кроме одежды и волос, у них было одинаково, даже голоса.

— Мы идём пить чай. Присоединишься? — спросила Вера и почесала Малюту между ушей.

— Мне некогда, сестра. У нас сеанс.

— С Малютой?

— Нет, с Випой.

— Я видела её в саду.

— Она уже позирует мне.

— Успехов. — Вера с улыбкой поклонилась и произнесла нараспев: — И чтобы цве-е-е-ет пошё-ё-ё-ёл!

— Пойдёт, пойдёт.

Ольга вышла.

Вера взяла Глеба за руку:

— Пошли. Без чая с мёдом не отпущу.

Глеб нехотя двинулся за матерью. Красный махровый халат был ему велик и волочился по полу. Они спустились в гостиную, прошли в столовую. Слышно было, как на кухне кипит работа.

— Садись и жди меня, — сказала Вера, а сама

пошла на кухню.

Глеб уселся за большой стол.

На кухне Фока готовил, Даша резала овощи на доске.

— Даша, сделайте нам чаю с мёдом и малиной, — распорядилась Вера.

Даша тут же бросила нож и пошла исполнять.

Едва Даша наполнила обе чашки китайского фарфора ромашковым чаем и водрузила заварной чайник на попискивающий электросамовар, заскрипели ступени лестницы и в столовую спустился Пётр Олегович Телепнёв — муж Веры Павловны, отец Глеба, пятидесятилетний полный мужчина с мясистым, брылястым, толстогубым и всегда румяным лицом, широкой шеей, пристальными быстрыми глазами и развалом местами седеющих тёмно-каштановых волос. Он был в холщовой толстовке с засученными рукавами, в широких, также холщовых штанах и кожаных греческих сандалиях.

— Ну вот! — произнёс он рокочущим баритоном, снимая на ходу круглые очки в тонкой металлической оправе. — Слышу звуки самовара!

— Мы промокли с Глебушкой. — Вера накладывала сыну в розетку тёмного гречишного мёда.

— Рыбу ловили? — пророкотал Пётр Олегович, подходя и оглядываясь. — Как темно! Ну и ливень! Даша, зажги канделябр!

Он ступал косолапо, полными тяжёлыми ногами, которые плохо сочетались с его подвижным, живым и быстроглазым лицом.

Даша стала зажигать свечи стоящего на комоде канделябра.

— Двух окуней поймал, — сообщил Глеб, громко отхлёбывая чай своими обиженными, пухлыми губами.

— Молодец!

— Присоединяйся к нам, Петя.

— С удовольствием! — Он уселся за стол.

— Даша, подайте стакан Петра Олеговича.

— И огня сюда, огня!

Даша поставила канделябр на стол.

Несмотря на полноту и косолапость, Телепнёв делал всё своими белыми руками быстро и ловко. Дотянувшись, он взял Верину руку своей полной белой рукой с не по-мужски изящными, к ногтям сужающимися пальцами и быстро чмокнул запястье жены:

— Ты тоже ловила?

— Нет, я Глебушку встретила с зонтом. А Тимофей нас подвёз.

— Вот как! Успели? Увернулись? Эвон как льёт! — Пётр Олегович покосился на окна. — Внезапно небо прорвалось с холодным пламенем и громом!

— И впрямь прорвалось. Потоп.

Вера стала наливать ему чаю в стакан в подстаканнике с советской космической символикой:

— Даша, ступайте к Фоке, вы там нужней.

Даша вышла.

— Ну вот. Сеть рухнула, — сообщил Телепнёв, тряхнув развалом прядей и принимая стакан. — Как всегда во время грозы. Раз — и нет! Словно в старые времена! Юймэй![25]

— Зато есть возможность почаёвничать, — улыбнулась Вера.

— О да, о да! Положи-ка мне, Веруша, медку.

Вера положила мёду, он взял розетку, сразу ополовинил её чайной ложкой и запил мёд чаем, зачмокал:

— Не могу *вязать*.

— Отдохни, Петя.

— Мы отдохнём, как говорили известные тебе сёстры… ммм… чудесная ромашка… аромат луговой… и мёд хорош…

---

[25] Примечания: 25
Идиотизм! *(кит.)*

— Это не с ярмарки, а наш, деревенский.

— Пахома? Или Женьки?

— Пахомовский.

— Пахом — правильный мужик.

— Он жену свою колотит и детей, — сообщил Глеб.

Родители переглянулись.

— А ты откуда знаешь, Herr Fischer[26]?

— Митяйка рассказывал.

Телепнёв отхлебнул чаю:

— Ну вот. Мда… это… ммм… скверно. Бить никого нельзя. Даже животных.

— Я бы Виперию побил, — прихлёбывал чай Глеб. — Она наглая и злая. И со стола ворует.

— Новая кошечка, ещё к нам не привыкла. — Вера бесшумно, в отличие от мужчин, пила чай.

— Диковата, диковата, — кивал седеющими прядями Пётр Олегович. — Но ты понимаешь, сын мой дорогой, путь насилия хоть и самый простой, но совершенно тупиковый.

— Пап, она ласки не понимает. Плохая кошка! Оцарапала меня.

— Э, нет, родной. — Пётр Олегович зачерпнул полную ложечку мёда, отправил в рот и тут же

---

[26] Примечания: 26
Господин рыбак *(нем.)*.

запил чаем, задвигал увесистыми розовыми щеками. — Плохих животных… ммм… не бывает, как и плохих людей. Что есть плохо? Поступок! Кто его совершает? Человек. Вопрос: способен ли человек, совершивший плохой поступок, после этого совершить поступок хороший?

— Способен, — ответил Глеб.

— Но если бы он был плохим человеком, он бы не был способен на хорошие поступки. А совершал бы только плохие! Значит, он не плохой человек. И не хороший. А — просто человек. Homo sapiens с суммой хороших и плохих поступков. Так и животные. Вот эта Виперия тёти Олина, она же не всё время шипит, царапается и ворует? Может и приласкаться, и ласково помурлыкать? Может?

— Ну, может… но всё равно противная.

— Противная! Потому что ты запомнил только её плохой поступок. А если бы мы с мамой держали в памяти только твои плохие поступки, кем бы ты был для нас? Или мама помнила бы только мои плохие поступки?

Вера притворно-грозно прищурилась:

— И какой был последний?

Пётр Олегович тут же задумался, лицо его стало сумрачно-серьёзным. Он угрожающе процедил:

— Третьего дня облил тебя за завтраком сливками.

И расхохотался, откидываясь на спинку стула. Смех его был сильный, задорный, грудной. И всегда заражал окружающих.

Вера и Глеб тоже засмеялись.

— Так что, Глеб, не суди Випу строго. Помни, что говорил Филипп Филиппович из “Собачьего сердца” — ласка, только ласка.

Глеб кивнул.

Телепнёв покосился на окна:

— И не думает переставать!

— Петя, месяц сушь стояла.

— Да, да, пыль глотали мужики и бабы… А нынче: шёл дождь, скрипело мироздание… Веруша, я прошу прощения!

Он прижал руки к пухлой груди.

— Что такое?

Пётр Олегович замер в этой позе. Затем произнёс робким шёпотом:

— Я про-го-ло-дался!

— Господи! — Вера рассмеялась.

— Завтракали рано, а сейчас уж первый час.

— Я тоже есть хочу, — сказал Глеб и перевернул на блюдечке пустую чашку.

— Господи, мои мужчины голодные! — Вера

всплеснула руками, встала и пошла на кухню.

Пётр Олегович обнял сына:

— Дадут! Дадут нам поесть!

Вскоре на столе оказались варёный окорок, жареная холодная курица, свежие огурцы, пшеничный и ржаной хлеб, сливочное масло и овечий сыр. Пётр Олегович достал из буфета графин с водкой, настоянной на смородиновой почке, подмигнул:

— Ну вот. Чтобы легче проскочило! Да и обед у нас безалкогольный…

— *Чтение* и водка несовместны.

— Увы!

— Тогда… Петя, и мне рюмку. Я озябла в лесу.

— Правильно!

Он взял две хрустальные рюмки и с графином подошёл к столу, стал разливать золотистую настойку.

— И кстати, в лесу наткнулась на мягкий куб.

Густые чёрные брови его поднялись:

— Что ты говоришь!

— Да. Ползёт в лесу у нас.

— Почему в лесу?

— Ты у меня спрашиваешь?

— Кубы только по полям должны ползать. — Глеб взял кусок курицы.

— Именно! Какого черта он ползёт в лесу?

— Пошли запрос в МЭ, дорогой.

— Сеть рухнула. Не до запросов! Но… эдак он и в дом вползти может?

— Может.

— Нет, я не против. Как вползёт, так и выползет, и дом наш будет в сто раз L-гармоничней, но…

— Но! — Вера подняла рюмку. — Выпей за наше с Глебом здоровье. Простужаться летом не хочется.

— Ваше здоровье, дорогие мои!

Они чокнулись и осушили свою рюмки.

— Ну вот. Ах, хороша! — Пётр Олегович взял двумя пальцами огурец и захрустел им.

Вера положила ему и себе ветчины. За окнами заполыхала молния и загремело так, что в буфете зазвенела посуда.

— Зевс Громовержец! — Хрустя огурцом, Пётр Олегович подмигнул Глебу.

— Пап, а у нас есть громоотвод?

— Не знаю… — задумался отец. — Не знаю!

— В этом доме есть всё. — Вера делала сыну бутерброд с ветчиной. — Кроме новой ванны.

— Ну, душа моя, в мире материи всё ломается, рано или поздно.

— А потом ремонтируется.

— Я послал запрос, всё будет. Я сам тебя опущу в новую ванну.

— Жду не дождусь!

Глеб доел курицу, рыгнул. Мать протянула ему бутерброд.

— Мам, я не хочу.

— Правильно, не переедай. Сегодня большой обед. — Она вытерла ему раскрасневшиеся тубы салфеткой.

— Я пойду к себе, *поскольжу.* — Он встал.

— Так Сети же нет пока.

— А у меня цзин[27].

— Хорошо, только переоденься. И кофточку надень.

Глеб вышел, прошуршав халатом по паркету. Жуя, Пётр Олегович проводил сына довольным взглядом:

— Как он… ммм… возмужал! За одну весну. Стремительно!

— Да, — улыбнулась Вера.

— По последней. Выпьем за Глебушку! — Он стал наполнять рюмки.

— Подожди. — Она положила свои пальцы на его широкое запястье. — Подожди, дорогой.

---

[27] Примечания: 27
Колодец *(кит.).*

Муж замер с графином в руке.

— Поставь пока.

Он поставил графин на стол. Помедлив, Вера вздохнула:

— Петя, дорогой, я давно тебе хотела что-то сказать.

Он смотрел на неё. Когда лицо его принимало серьёзное выражение, большие щёки его выглядели особенно по-детски беспомощно.

— Что-то сказать. — Она погладила его по руке. — Ты сейчас вспомнил, что облил меня за завтраком сливками. Коровьими сливками. Пролил на меня из сливочника. Сливки. Белые.

— Да, дорогая, да, и поверь, это было какое-то помутнение… я качнулся, как какой-то похмельный официант из…

— Помолчи.

Он смолк.

Она приблизила к его большому лицу своё узкое, красивое, словно выточенное из слоновой кости лицо:

— Муж мой, почему ты уже долгое время орошаешь меня своими драгоценными сливками только по тем дням, когда я не моту забеременеть?

Рот Петра Олеговича раскрылся. Он уставился

на жену так, словно увидел другого, незнакомого ему человека.

— Извини меня за прямолинейность. Извини. Но я… я думала эти месяцы, как это получше сформулировать. И всё получалось как-то глупо, по-бабьи. А теперь… эти сливки помогли. Или мне кажется, что не помогли, не знаю… В общем… в общем, скажи, Петя… Пётр, ты так не хочешь детей?

— Дорогая… — пролепетали его губы.

Она тут же накрыла их пальцами:

— Подожди, милый, подожди! Я не так сказала, прости дуру, я просто волнуюсь.

— Милая, Веруша, родная моя…

— Молчи! Умоляю!

— Хорошо, хорошо… только не волнуйся так…

— Да, я волнуюсь, меня всю трясёт… — Она выдохнула и вздохнула глубоко. — Господи, дай мне сил!

Взяла его за тяжёлые щёки:

— Любимый мой человек, родной мой Петя. У меня никого нет, кроме тебя и Глеба. Оля — родная, но… ты знаешь наши с ней отношения. Мама с папой в могиле. Брат погиб на войне. Ты и Глебушка. И всё. В этом мире. Как это: без тебя… без вас, без твоей любви, как в чёрной книге, страшно

в мире душном. Мы втроём счастливы. И это прекрасно! Это наше счастье. Даже — не семейное, а просто — счастье. Большое наше счастье, которое длится и длится. Мы его ценим и дорожим им. Я дорожу каждой минутой нашего счастья. Но я не хочу… нет… я хочу, да, я хочу, чтобы наше счастье мы с тобой ничем не ограничивали, не загоняли в рамки… ну, семейной рутины, так это сказать? Да! Рутины серой. Чтобы мы не надевали на счастье шоры такой вот рутины, такой мещанской рассудительности!

— Но, милая…

— Молчи, дорогой!

Она снова накрыла его большие, мягкие, всегда тёплые губы.

— Наше счастье — животное большое и очень свободное. Если мы наденем на него шоры, взнуздаем здравым смыслом быта, будем понукать, стреноживать — оно быстро превратится в забитую клячу. И тогда — серая рутина жизни обрушится на нас, милый мой, она покроет нас, засыпет всё, всё, все наши радости! Они окаменеют. И мы станем каменными тоже. И будем жить, как окаменевшие люди, жить, двигаться, говорить нужные слова, заниматься любовью, а потом не заниматься — и так до гробовой доски.

Каменная жизнь! И это будет ужасно.

Она замолчала. В карих глазах её стояли слёзы.

Пётр Олегович набрал в лёгкие побольше воздуха, отвёл её руку от своих губ:

— Ну вот. Дорогая, милая моя, я клянусь тебе, кля-ну-сь всем святым на свете, всем, что у меня есть, жизнью своей, что я ни-ког-да, слышишь? никогда не рассчитывал и не высчитывал твои опасные дни! Да, это было ещё до рождения Глеба, в Тайбэе, когда мы, молодые, береглись с тобой из-за твоей учёбы, и это было наше решение, наше с тобой, совместное, осознанное! Но чтобы я сейчас сам что-то рассчитывал, составлял какой-то график, приспосабливался, берёгся… это… бред, дорогая моя Веруша!!

Последние слова он выкрикнул ей в лицо. От волнения брылья его налились кровью.

Она вытерла слёзы.

— Как… как ты такое подумать могла?! Разве это похоже на меня, а?

— Да нет, непохоже, — всхлипнула она.

— Я… я такой расчётливый, бухгалтер эдакий, Ионыч толстомясый, да? Слежу за опасными днями жены! Да?

Он взял её за хрупкие плечи:

— Посмотри на меня! Я — Ионыч?

— Нет, милый, что ты…

— Послушай, ты же знаешь, когда я *пахтаю, плету,* когда *вяжу* витальные струи, я расплачиваюсь за это.

— Я знаю, милый, знаю…

— И в эти периоды я, ну, я… нечасто орошаю тебя моими сливками!

Он расхохотался, затряс головой так, что пунцовые брылья заколыхались:

— Прости, прости, что я несу! Но это — правда, правда! Издержки профессии, ты это знаешь лучше меня!

— Знаю, знаю… — Она опустошённо рассмеялась.

— Тебе просто… ну… показалось, померещилось, что я что-то подгадываю, что-то высчитываю!

Он сжал её плечи, приближаясь лицом:

— Любимая моя, насколько ты знаешь, в постели я не Плюшкин! Не Гобсек! И даже не Дон Кихот! Клянусь тебе, что сегодня я… я за-топ-лю тебя! Если не сливками, то… хотя бы… нет, нет, что я несу, милая, что я несу! И вообще — что мы с тобой несём?!

Он захохотал, обнимая её, она рассмеялась тоже. Они смеялись и смеялись, отдаваясь смеху, обнявшись и раскачиваясь на стульях.

— Хохочете? — раздался голос входящей в столовую Ольги.

Они не могли остановиться.

— И пьянствуете? — Она заметила графин с водкой.

— Именно! Именно! — пророкотал Пётр Олегович, доставая платок и отирая свои глаза.

Вера полезла в карман жакета и вместо платочка вынула салфетку, которой берегла пальцы от татарника. Она высморкалась в салфетку и стала вытирать ею глаза.

— Виперия сбежала от грома, — сообщила Ольга и подошла к окну. — Конца не видно. Мой сад весь смоет.

— Ну вот. Уф… давно так не хохотал… — Телепнёв перевёл дыхание.

— Я… — начала было Вера, но снова стала смеяться.

— Не продолжай, умоляю! — Он схватил жену за плечи. — А то молочная тема угробит нас!

— Да, да, ладно… всё… — Она вздохнула и ровно задышала. — Спокойно, спокойно…

— Что же вас так развеселило? — спросила Ольга, постукивая ногтем по оконному стеклу. — Опять milklit?

— Нет, другое… так, аберрация… — произнесла

Вера.

— Аберрация? Наш Фока любит это слово. Если пироги подгорели, говорит: аберрация случилась.

— Мда… аберрация… милая, мы так с тобой и не выпили за здоровье Глеба. — Пётр Олегович взял свою рюмку. — Оленька, выпьешь с нами?

— Для меня слишком рано.

Вера подняла свою рюмку. Они чокнулись и выпили.

— Пойду Випу искать. — Ольга пошла к двери.

— Она забилась куда-то, гроза кончится, сама выйдет, — предположила Вера, закусывая водку.

— Не знаю…

Ольга вышла.

Гроза завершилась к трём, затопив большой сад и побив ливнем цветы малого. А к пяти часам в имение Телепнёвых съехались гости: Пётр Петрович Лурье, milkscripter, с супругой Лидией Андреевной, Протопопов Иван Иванович, milkscripter, с подругой Таис и Ролан Генрихович Киршгартен, *переплётчик.* До имения каждый добрался по-своему: Лурье доехали поездом, а со станции взяли коляску, Протопопов и Таис прикатили на своём оранжевом БМВ, Киршгартен с получасовым опозданием прилетел на серебри-

сто-чёрном аэропиле, приземлившись прямо у крыльца террасы. Выключив двигатель, он снял шлем с головы и проговорил своим негромким, всегда спокойным голосом:

— Прошу прощения, дамы и господа! Опаздывает тот, кто быстро едет или летит.

— Ну вот! Genau![28] — пророкотал Пётр Олегович, стоя с бокалом кваса в руке.

В ожидании припозднившегося все пили квас и брусничный морс у закусочного столика. Алкоголя на столике не было.

— Ролан, вы Меркурий! — восторженно-угрожающе произнесла высокая, смуглая и стройная Таис.

— Скорее — Пегас! — добавил такой же высокий, худощавый и смуглый Протопопов. — Тебя не сбила ПВО?

— Как видишь. — Киршгартен бросил шлем на газон, отстегнул аэропиль и позволил ему также упасть на газон, открыл багажник и достал бутылку шампанского.

— Успел ты, брат, после грозы! — тряхнул прядями Телепнёв. — Повезло тебе!

— Он же немец, всё рассчитал! — улыбалась

---

[28] Примечания: 28
Так и есть! *(нем.)*

Вера.

— Штрафную кваса Киршгартену! — улыбался круглолицый бородатый Лурье.

— Штрафную, штрафную непременно! — Телепнёв наполнил квасом бокал.

— Ролан, ты видел восседающего на облацех?

— Лида, ты спрашиваешь это каждый раз! — засмеялся Киршгартен, обнажая крепкие белые зубы. — Полетели вместе, посмотришь.

— Не отпускаю! — Лурье приобнял жену.

Глеб подбежал к аэропилю, присел на корточки:

— Пётр Петрович, вы *приблуду* не сменили?

— Нет ещё. — Он потрепал Глеба по вихрастой голове. — Привет, стрелок.

— Всего три тысячи метров?

— Мне хватает.

Стянув с себя серебристый комбинезон, Киршгартен убрал его в багажник аэропиля и с бутылкой в руке пошёл на террасу. На нём остались белые брюки и тонкая палевая помятая водолазка.

— Все в сборе, — констатировал он, поднимаясь по деревянному крыльцу.

— Давно! — Телепнёв протянул ему бокал, другой рукой шлёпнув по его ладони. — Привет,

воздухоплаватель!

Поставив бутылку, Киршенгартен расцеловался с женщинами. Он был невысокого роста, помоложе Телепнёва, крепкого телосложения, с умным лицом, тонкими усиками и внимательными глазами. Немецкую кровь в нём выдавал только нос с горбинкой.

— За что пили? — спросил он, беря с тарелки маленькую гренку с форшмаком.

— За солнце! — сообщил Телепнёв.

— Можно повторить?

— Unbedingt!

— Давайте лучше за встречу! — предложила Вера.

— Да, со свиданьицем! — подхватил Лурье.

— Со свиданьицем! Со свиданьицем!

Все сдвинули бокалы, чокнулись и выпили.

— Ну вот! И сразу выпил! — произнёс Телепнёв, схватил гренку, бросил в рот и зажевал, задвигал своими брылями.

Все стали закусывать, столпившись вокруг столика.

— Пётр, ты часто его так цитируешь, — заметил Протопопов. — Так нравится поэма?

— Отдельные выражения. Сама поэма… ну… хорошие начало и конец. В середине рыхловато.

— Рыхлая вата, — согласился Лурье. — Как только они садятся в электричку.

— Лакуны. Как и у многих советских встолописателей. — Протопопов сунул в тонкогубый властный рот дольку маринованного чеснока и захрустел. — В “Мастере и Маргарите” рядом с блистательными главами — как, например, “Слава петуху!” — рыхлые, многословные куски. Я уж умолчу о конце…

— Он был сильно болен тогда, — вставила Вера.

— Верочка, гению болезнь не помеха, вспомни Ницше, — сказала Лидия Андреевна.

— Или Боланьо, — откликнулась Вера.

— Или Хэнсгена. Гений наш болен, но *пластает* классно!

— А вот у Платонова в двух его главных романах нет никаких рыхлостей, — заметил Лурье. — А он тоже писал в стол.

— Это два куска бетона. — Киршгартен взял маслину.

— Скорее — уральского гранита. Железобетонная проза — это “Цемент”.

— Платонов самый цельный из всех советских. Он и Хармс.

— Почему так? — спросила Таис.

— Почему так? — ненадолго задумался Телепнёв. — Большинство из них, в том числе и Булгаков, втуне надеялись, что рано или поздно цензура сменится и пропустит эти тексты. Поэтому и допускали рыхлые, смягчающие острые углы лакуны, реверансы в сторону официоза. Помните, о Сталине: “Он хорошо делает своё дело”. А Платонов и Хармс не надеялись, что их вещи будут опубликованы.

— Логично, — кивнул Протопопов. — Хотя… “хорошо делает своё дело”… может, он имел в виду — адское дело? Помнишь, у Маяковского: “Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже”. Воланд одобряет это?

— Не уверен. — Телепнёв стал наполнять бокалы. — Это реверанс, а не скрытая инвектива. Вообще, Воланд у Булгакова скорее Дон Кихот, чем Вельзевул. На крыше дома Пашкова он опирается на шпагу с широким лезвием. Это меч Дон Кихота.

— Воланд у Булгакова — защитник униженных и оскорблённых, — заметил Киршгартен. — Он Вильгельм Телль. Серой от него потягивает весьма слабо.

— От него пахнет мазью Вишневского! — громко сообщила Лидия, и все рассмеялись.

— Да, когда Гелла мажет ему колено.

— Это запах моей прабабушки! — воскликнул Телепнёв. — У неё перед смертью на ноге открылась незаживающая рана. Помню бинты, мазь, гной…

— Хватит о болезнях. — Таис подняла рюмку. — За Веру и Петю!

— За вас, дорогие! За Верочку и Петю! Спасибо вам!

— Собрали старую гвардию, несмотря на грозу!

Все чокнулись, выпили и стали закусывать.

— Ну вот! И сразу — выпил! — пробасил Телепнёв, ополовинивая бокал. — Ух! Хорош квасок!

— Интересно, Петя, ты не любишь совлит, но часто их цитируешь, — заметил Лурье.

— Часто? Нет! Вовсе нет!

— “Я достаю из широких штанин”, — напомнила Вера.

— Я часто это говорю?

— Ну… — нарочито-задумчиво протянула Вера, полузакатывая глаза, — довольно!

Все рассмеялись.

— Пётр, ты совлит не любишь феноменологически или стилистически? — спросила Лидия.

— Скорее — онтологически. Для меня они все — добровольные инвалиды, положившие свои

конечности под пилу цензуры. У них отпилены ноги или руки. Советская литература — балет инвалидов на ВДНХ. Их литература — как забег одноногих или заплыв безруких. Этому можно по-человечески посочувствовать, но любоваться этим невозможно.

— Да и безнравственно любоваться, — вставила Вера.

— И безнравственно, — серьёзно добавил Телепнёв. — А главное, что результаты их забегов и заплывов не стали мировыми рекордами. Лит-человечество в те годы и бегало быстрее, и прыгало дальше.

— Да! — кивнула Таис. — И это главный аргумент. Литература должна быть физиологически здоровой. Это суровый закон.

— К инвалидам в нашем деле снисхождения быть не может.

— Ну а сумасшествие? — спросила Лидия. — Поэтическое безумие?

— Я говорю о здоровых членах. Душа — не член тела. Душа — просто душа. Где она живёт — непонятно. Её цензура ампутировать не может.

— О да! — Протопопов презрительно усмехнулся. — Душа — отдельно, тело — отдельно. “Душу, душу трите, паразиты!”

— Мамлеев! — с удовлетворением кивнул Лурье. — А вот у него все члены были целы.

— Юрий Витальич под пилу не лёг. Поэтому он — не совлит… — Телепнёв пошарил по закусочному столу глазами. — Постойте! А где же грузди?! Дашенька!

Хлопочущая в столовой у большого стола Даша заглянула на террасу.

— Ну вот! Грузди! Грузди! Грузди! — Телепнёв сморщился болезненно, как от удара, схватился руками за свою массивную грудь.

— Так они ж на большом столе, Пётр Олегович.

— Сюда, сюда немедленно!

Глазурованная чаша с солёными груздями была тотчас принесена и поставлена в центр стола. Маленькие закусочные вилки потянулись к ней.

— Ммм… смерть, смерть! — застонал Телепнёв, закусывая груздем.

— А это Чехов, — констатировала Лидия. — Но там была горчица.

— Мы все всё цитируем, — вздохнула Таис. — Это уже Fatum.

— Обречены. Витгенштейн прав.

— Великолепные грузди, — жевал Киршгартен. — И это не цитата!

Все рассмеялись. На мгновенье все стихли и

жевали.

— Вера, тебе очень идут эти бусы, — сказала Таис.

— Спасибо!

— В Иерусалиме, на Via de la Rosa. Увидел и купил за минуту! — Телепнёв насаживал на вилку очередной груздь.

— Так и надо, — кивнула Таис. — Приглянувшуюся вещь надо покупать сразу.

— А я хожу днями вокруг, — вздохнула Лидия.

— Пока её не купят другие! — с тоской проговорил Лурье, и все снова рассмеялись.

На террасу из столовой в голубо-салатовом летнем платье вошла Ольга:

— Приветствую всех.

С ней ответно поздоровались, но поцеловались с ней только Таис и Киршгартен.

— Красивое платье, — сказал он.

— Спасибо. Как дела?

— Дела идут, конTORa пишет. Ты надолго?

— Как вытерпят.

— Слетаем куда-нибудь?

— Ой, с удовольствием. Вообще, нам всем сегодня невероятно повезло с погодой. — Ольга упёрлась руками в стройную талию. — Когда прорвались хляби небесные, я вспомнила: боже мой,

ведь к нам сегодня гости едут! Ка-ки-е гости?! Тут лило так, гремело так!

— Погода переменчива, — произнёс Протопопов, глядя в чёрные как смоль глаза Таис.

— Это намёк? — спросила она.

— Оля, кваску, морсику? — предложил Телепнёв.

— Не откажусь.

Он наполнил её бокал морсом и принялся наполнять другие.

— Коли о русской *бумаге* вспомнили, я вот искренне жалею, что Хармс не дожил до времён milklit. Он бы *пахтал, плёл* и *вязал* божественно, — сказал Лурье.

— Петя, Хармс дискретен, — возразил Телепнёв. — Он гений малой прозы. И стихов, стихов, конечно. Он бы лепил *сырники.*

— И что в них плохого?

— Ничего, но *сырники* — это не *творог.*

— Кто любит *творог,* а кто *сырники.*

— Я не об этом. Milklit порождён крупной формой. И держится на ней.

— И прекрасно! Вокруг творожного престола полно места для *сырников.*

— Полным-полно, конечно! Но *сырники* — дискретный жанр. В нём нет метафизики. В бумаге

у великого Даниила она была, да и ещё какая! Но milklit — это milklit, дорогие мои! Здесь свои законы, своя гравитация и архитектоника. Масштаб Хармса в milklit был бы в разы меньше Хармса бумажного.

— Пётр прав, — кивнул лысоватой головой Протопопов. — Конвертировать в milklit всех гениев прошлого без потерь невозможно.

— Это не конвертация, Ваня, а рождение в новом пространстве!

— Это был бы уже не Хармс.

— Новый Хармс! *Сливочный!*

— Но не *творожный.*

— Не *творожный!* — Телепнёв стал передавать всем наполненные бокалы. — А мощь *творога* говорит сама за себя! Milklit опирается на неё. *Творог* должен быть густым и плотным, не рыхлым.

— Пётр, у тебя слишком ортодоксальный взгляд на milklit.

— Петя, я за чистоту формы. Крупной! Твой любимый Хармс говорил, что для него в тексте важна чистота внутреннего строя. В *твороге* — то же самое! Ты в своих вещах так же блюдёшь её. Твой "Мавританец" — торжество чистоты внутреннего строя! Стол Зелёных Доходов, субсидиарная ответственность, старая трубка Петруччо, босо-

ногая Анна! Это всё — мощно и стройно!

— А какая Розмари! — повела плечом Ольга.

— Огненноволосая Розмари, да. Это крутое *плетение.* — Киршгартен подмигнул Лурье. — “Тёмное большинство разрушительных несоответствий опустилось на её худые ирландские плечи в эту гнилую осень подобно полярной сове и тут же запустило когти.”

Тот отрицательно замотал головой:

— И всё-таки, друзья, в ландшафте milklit полно места для *сырников!*

— Ну вот! Конечно, полно! До фига! Кто спорит? — Телепнёв взял малосольный огурчик и держал его двумя пальцами, оттопырив остальные. — Но, дорогой мой, не надо делать из Хармса Джерома Джерома! Или Зощенко! Пусть он продолжает грозно сиять в бумаге!

— За Хармса! — подняла бокал Лидия. — Или за *творог?*

— За Хармса! За Хармса!

Все чокнулись и выпили.

— Я тоже теперь квасу хочу, — сказал Глеб.

— Кваску, сынок, кваску! — Хрустя огурцом, отец наполнил его бокал.

— Глеб, ты любишь cheese или *творог?* — спросил Киршгартен.

— *Сырники,* — ответил Глеб, пригубливая свой напиток.

Все рассмеялись.

— И какао. — Ольга насмешливо глянула на Глеба.

— Он уже пробовал *пахтать и лепить.* — Телепнёв положил сыну руку на плечо.

— Ну и?

— Сложно, — ответил Глеб. — *Сливки я* сбил. Кусочек *масла.* Просто *пахтать* я могу, но *плести пластовой* сложно. И milksaw — оч-ч-чень сложная штука.

— Вот и я это всегда говорю сам себе! — кивнул Протопопов, скорбно-обречённо скривив рот.

Новый взрыв смеха заполнил террасу.

— А *масло* пахтать — это вообще круто! Наш папа — супер! — Глеб обхватил отца сзади и обнял за живот.

— Твой папа — супер, это правда, — подтвердила Лидия.

— A propos, о *конвертации.* — Киршгартен подцепил на вилку маленький груздь и, не жуя, проглотил. — “Infinite Jest”[29] благополучно *пере-*

---

[29] Примечания: 29
“Бесконечная шутка”, роман Д. Ф. Уоллеса.

плели, а “Gravity’s Rainbow”[30] неистовый Арик *слепил…* и?

— И! — тряхнул прядями и щеками Телепнёв.

— И, — зло скривил губы Протопопов.

— И… — с сожалением причмокнул Лурье.

— А почему, я вас спрошу? — грозно пророкотал Телепнёв. — Ну вот! Да очень просто: litmoloko весьма глубоко! То, что не становится *маслом,* — тонет! Белая метафизика! “Rainbow” потонула в *сыворотке!*

— И погасла! — добавила Лидия.

— Но *творог,* Пётр, состоит не только из *масла,* но и из *сметаны,* — заметил Лурье.

— Кто спорит, Петя?! — вскинул руки Телепнёв. — Но от “Gravity’s Rainbow” безумного Арика до *сметаны* — как от нашего Алтая до Уральских гор! А вот Ролан *переплёл* “Der Mann ohne Eigenschaften”[31]ве-ли-ко-лепно! Там и *масло* супер-флю и *сметана,* и *творог* поэтому — отменный, пластовой!

— Великолепно! — подтвердил Лурье. — Значит, многое, очень многое зависит не только от текста, а от *переплётчика!*

---

[30] Примечания: 30

“Радуга земного тяготения”, роман Т. Пинчона.

[31] Примечания: 31

“Человек без свойств”, роман П. Музиля.

— Кусок жизни пришлось отрезать для этого пластового *творога,* — улыбался Киршгартен.

— Не знаю… — Вера откусила от стебелька черемши. — Я сейчас читаю бумагу, “Les Bienveillantes”[32]. И не представляю, как можно было бы это *переплести.*

— Никто и не взялся до сих пор, — сказал Протопопов.

— И не возьмётся! Читайте бумагу! — поднял палец Телепнёв. — А по поводу пластового творога у меня, дорогие мои, вызрел тост.

— Ну вот, снова о прозе, — покачала головой Лидия.

— Ты против? — Лурье нежно взял жену за мясистую мочку уха с вкраплёнными мормолоновыми кристаллами.

— Проза, проза, milklit… Всегда у Телепнёвых говорим о ней. А о поэзии? Никогда!

— Никогда! — согласилась Вера.

— Никогда, — кивнула Ольга.

— И впрямь — никогда! — рассмеялся Протопопов.

— Да, не помню такого. — Киршгартен взглянул на Телепнёва. — Принцип?

---

[32] Примечания: 32
“Благоволительницы”, роман С. Литтелла.

— Ролан, какой, к чёрту, принцип?! — негодующе усмехнулся тот. — Что я — враг поэзии? Да я обожаю её! Мы, прозаики, — битюги, а поэты — арабские скакуны! Как ими не восхищаться?

— Да, мы тянем, пыхтим, а они скачут, — с лёгким самодовольством заметил Лурье. — Ролан, ты же раньше много писал о поэтах.

— И как лихо писал! — Телепнёв увесисто хлопнул Киршгартена по спине.

— Я помню текст Ролана о Пастернаке, что его поздние стихи отдают старческим простатитом, — улыбнулась Лидия.

— Да, да! Помню! — оживился Телепнёв. — Гениальная статья! “Я дал разъехаться домашним!” Это — чистый простатит! А “быть знаменитым некрасиво” — ревматизм! Да! Поэзия! Она хороша, только когда ей быстро скачется. Состарившиеся поэты — нонсенс. “Холстомер”! На живодёрню!

— А как же китайцы? — спросила Ольга.

— Ну… китайцы — это… китайцы!

Все заулыбались.

— Китайские поэты созерцают, а русские — поют, — проговорила Лидия.

— Старость созерцательности не помеха.

— А наши в старости переходят на хрип.

— Вообще, дорогие мои, что толковать о по-

эзии? — Телепнёв негодующе изогнул густые брови. — Её надобно читать!

— Вот и начни! — Вера чокнулась с его бокалом.

— Извольте!

Телепнёв продекламировал:

Ничего не забываю,
Ничего не предаю…
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

— Что-то из “Серебра”, — заключил Лурье.

— Конечно! Мой любимый поэтический металл! Адамович.

— Не бог весть какой поэт.

— Ну, хао. Тогда вот это:

В шалэ берёзовом, совсем игрушечном
и комфортабельном,
У зеркалозера, в лесу одебренном, в июне севера,
Убила девушка, в смущеньи ревности,
ударом сабельным
Слепого юношу, в чьё ослепление
так слепо верила.

Травой олуненной придя из ельника
с охапкой хвороста,
В шалэ берёзовом над Белолилией
застала юного,
Лицо склонившего к цветку молочному
в порыве горести,
Тепло шептавшего слова признания
в тоске июневой…

У лесоозера, в шалэ берёзовом, —
берёзозебренном, —
Над мёртвой лилией, над трупом юноши,
самоуверенно,
Плескалась девушка рыданья хохотом
тёмно-серебряным…
И было гибельно. И было тундрово.
И было северно.

— Северянин, — улыбнулась Лидия.

— Кстати, в *молоке он* довольно хорошо стоит, — заметил Протопопов.

— Весьма хорошо, — добавил Киршгартен. — Много поклонников.

— Потому что — гений! Жаль, Петь, что у меня память на стихи — весьма швах. Ну а ты, Иван?

Протопопов, ни на секунду не задумываясь, прочитал:

Зная, что обои любят тень,
Что клопы вплетаются в узоры —
Койки оттолкнём от тёплых стен,
Перекрутим бархатные шторы.

— Rokso! — узнала Вера.

— А, протей этот! — усмехнулся Телепнёв. — Густо! А ты, моя любовь, чем нас порадуешь?

Вера задумалась, переведя взгляд на белый, местами облупившийся переплёт веранды:

Be silent in the solitude,
Which is not loneliness – for then
The spirits of the dead who stood
In life before thee are again
In death around thee – and their will
Shall overshadow thee: be still.

Все притихли.

Телепнёв качнул головой, тряхнув брылями:

— Ну вот! Жена моя умеет вовремя подпустить потустороннего!

Все рассмеялись.

— Лида?

— Я?

— Да, ты. Просим!

Она сделала несколько шагов по веранде, с выжидательным вздохом обняла себя за пышные предплечья:

Люди рожают людей more,
Зомби хоронят more зомби,
Сон порождает more сон,
Смерть порождает more смерть,
Снег покрывает more снег,
Воду глотает вода more,
Дуб прорастёт сквозь more дуб,
Речка вольётся в more пруд,
Змеи глотают more змей,
Лев разрывает more львёнка,
Дым наползёт на more дым,
Вспыхнет в огне more огонь,
Ветер несёт облака,
Звёзды приветствуют звёзды,
Свет, разгоняющий тьму,
В доме ещё не погас.

На веранде повисла тишина.

— Кто это? — спросила Ольга.

— RMR.

— Resting Metabolic Rate, — подсказал Кирш-гартен.

— Знаем, пробировали. — Протопопов взял оливку, сунул в рот.

Телепнёв шумно вздохнул, налил себе квасу:

— После метаболической метафизики сразу хочется выпить.

Лурье перевёл взгляд на Глеба.

— А ты, mon cher, любишь стихи?

— Не очень, — ответил тот.

— Глеб любит стрелять по пустым банкам, — сказала Ольга.

— И не ври, я по мишеням стреляю! — подросток бросил на Ольгу злобный взгляд.

— Глеб! — одёрнула сына Вера.

— Что-то помнишь, сынок? — спросил сына Телепнёв.

Глеб прочитал нехотя:



[33]

— В школе? — спросил Протопопов.

— В школе.

— Звучит красиво, но я не знаю автора.

— Ду Фу, — буркнул Глеб.

— Ду Фу и Ли Во в китайских школах — как в русских Пушкин и Лермонтов, — захрустел огурцом Телепнёв.

— Интересно, *молочный* Лермонтов великолепен, а Пушкин — не очень, — произнесла Лидия.

— “Евгений Онегин” в *молоке* хорош! — несогласно тряхнул брылями Телепнёв.

— Хорош! — кивнул Лурье. — Как только слепили — сразу пробировал.

— Вполне, — согласился Киршгартен. — Чего не скажешь о Мандельштаме.

— Дорогие мои! У *молока* свои законы! Не нравится *молочка* — читай бумагу!

— Петя, не все читают, — возразила Вера. — Не у всех есть бумага.

— Пусть разорятся!

Телепнёв продолжил, тяжело заходив по веранде:

---

[33] Примечания: 33

Две жёлтые иволги в ивах зелёных поют, / Белые цапли скользят по не бесной лазури. / В окне моём — западный кряж под вековыми снегами, / В дверь же плывут корабли из восточного царства Дунъу *(кит.).*

— Эра milklit уникальна тем, что подняла и воздвигла совсем забытые имена, а многих бумажных гениев утопила! Например, Пригов гениально стоит в *молоке!* Улитин! Norman Mailer! Wyndham Lewis! А Набоков — плохо! Беккет — плохо! А Кафка — так себе!

— И “Улисс” — так себе, — подхватила Вера. — А “Finnegans Wake” — гениально!

— Гениально! В Дублине был фест по этому поводу, moloko и гиннес рекой лились! Второе рождение! Это невозможно объяснить!

— И не надо, — согласился Протопопов. — Пробируй — и всё!

— Пробируй — и всё!

— Это железный аргумент…

— *Переплётчик* должен объяснять. — Лидия приблизилась к Киршгартену, глядя с лукавством из-подлобья.

— Он никому ничего не должен, — холодно проговорила Ольга.

— Объяснить можно всё, — ответил Ролан. — Даже Вселенную. Даже Бога.

— А moloko?

— Я этим постоянно занимаюсь! — рассмеялся Киршгартен.

— Но что толку от обоснований? — развёл рука-

ми Телепнёв. — Надо плыть в *молоке* вперёд и не оглядываться. Гребите дружней, дорогие!

— Это тост! — усмехнулся Протопопов.

Они выпили.

— Петя? — Лидия посмотрела на мужа.

— Я? — Лурье поднял брови. — Друзья, как признался уже Пётр, у прозаиков плоховатая память на стихи.

— Неу всех! — пророкотал Телепнёв.

— Ну… сейчас…

Лурье потеребил свою короткую седоватую бороду, прищурился:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен – ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам ещё наступать предстоит.

— Прекрасно! — дёрнул головой Телепнёв.

— Господи, опять про войну! — Вера взялась ладонями за виски. — Сколько можно?! Она же

закончилась.

— Верочка, это не про эту войну, про другую.

— Кто автор?

— Ион Деген, — ответил Киршгартен.

— Фронтовик, — сообщил Лурье, беря со стола гренку с форшмаком.

— Фронтовая поэзия должна быть только такой! — заключил Телепнёв и размашисто шлёпнул Глеба по попе. — Не надоело тебе со стариками?

— Не-а.

— Сейчас пойдём есть. — Вера стала гладить сына по голове, но тот отстранился.

— Осталась Ольга, — произнесла Лидия, не глядя на неё.

— Я… да.

— А она стихов не знает! — Глеб зло-насмешливо глянул на Ольгу.

— Уверен, стрелок по банкам? — усмехнулась она.

Подошла к буфету, прислонилась к нему спиной:

Тихий дух от яблонь веет,
Белых яблонь и черёмух.
То боярыня говеет

И боится сделать промах.
Плывут мертвецы.
Гребут мертвецы.
И хладные взоры за белым холстом
Палят и сверкают.
И скроют могильные тени
Прекрасную соль поцелуя.
Лишь только о лестниц ступени
Ударят полночные струи,
Виденье растает.
Поют о простом:
“Алла бисмулла”. А потом,
Свой череп бросаючи в море,
Исчезнут в морском разговоре.
Эта ночь. Так было славно.
Белый снег и всюду нега,
Точно гладит Ярославна
Голубого печенега.

— Хлебников — абсолютный гений! — ударил кулаком в свою ладонь Телепнёв. — Спасибо, Оленька!

— Не ожидала такого от вас, — произнесла Ли-

дия, иронично улыбаясь и глядя на Ольгу.

— Что же вы ждали? — усмехнулась та, стоя у буфета. — Стадлера? Graaaw?

— Ну, Graaaw вы точно читать не стали бы. Это надо рычать.

— Рыка не хватило бы?

— Рык — не ваш диапазон. Низкие частоты.

— Слишком глубоко?

— Скорее — слишком высоко.

— То есть — не доросла?

— Вы доросли до многого, Ольга Павловна, — нарочито-серьёзно проговорила Лидия. — Хлебников! Ух, какая вершина! Продолжайте, продолжайте расти.

— Непременно.

— Продолжайте, продолжайте. Об одном прошу — растите прямо, а не в стиле норильской берёзки.

— А-ха-ха! — зло проговорила Ольга. — Каков намёк! История голубого Марка не забыта?

— Давно забыта! — махнула пухлой рукой Лидия. — Я — о будущем.

— Да нет, милая, вы о прошлом.

— Тема Марка да-а-авно закрыта! — Лидия двинулась по террасе, притопывая. — Дав-но! Дав-но!

— О нет! — угрожающе скрестила руки на груди Ольга. — Такое забыть — не в вашем характере.

— За-быта. За-быта. И за-крыта.

— Не за-бы-та! Норильская берёзка! Если я расту норильской берёзкой, то вы с моей сестричкой растёте двумя болотными хвощами! Милыми такими болотными хвощиками! И оч-чень цепкими! Когтистыми!

— Оля, прекрати, — строго произнесла Вера.

— Которые страстно оплетают не только друг дружку, но и всё, что подвернётся. Марк подвернулся — оплели. Тао Дэхуай — оплели! Теперь, насколько я в теме, — дело за D-N?

— Оля!

— D-N! Там есть что оплетать! — Ольга захлопала в ладоши. — Браво! Норильская берёзка! Oh-la-la!

— Ольга!

— Верочка, прикрой подружку!

— Ольга Павловна, это просто зависть, — проговорила Лидия. — Слишком простая.

— Лидия Андреевна, норильская берёзка болотному хвощу не позавидует!

Телепнёв примиряюще поднял руки:

— Дорогие мои дамы, прошу вас! Очень прошу!

Ольга замолчала. Щёки её раскраснелись.

Лицо Лидии наоборот — побледнело и стало сосредоточенно-угрюмым. Она покусывала свою губу.

На террасе возникла неловкая пауза.

— Оля, Вера, я давно хотела вас спросить, — заговорила Таис. — Я антрополог, достаточно неплохо знаю феномен близнецов, интересовалась этим вполне профессионально, даже записки доктора Менгеле про его чудовищные эксперименты с близнецами читала. Я знаю, что близнецы иногда видят один и тот же сон. Об этом есть различные свидетельства. Вы, близнецы Оля и Вера, видели когда-нибудь одновременно один и тот же сон?

Ольга и Вера переглянулись. Ольга усмехнулась и покачала головой:

— Лучше ты.

Вера помолчала немного, потом заговорила:

— Таис, ты задала весьма чувствительный вопрос. Да, мы однажды видели один и тот же сон.

— Если это что-то очень личное, интимное — не рассказывай, просто скажи: однажды это было.

— Я готова рассказать. Нам было девять лет, мы спали в разных домах: я — у бабушки, а Оля с мамой пряталась от бомбёжки в подвале их дома, спала в подвале. Сон такой: я иду по бабушкиному саду, по дорожке, и вижу слизняка на этой

дорожке. Жирного такого, малоприятного. И я его давлю ногой. И вдруг из-под сандалии раздаётся голосок: “Не убивай меня, я твой братик!” И я просыпаюсь. Оля видела точно такой же сон.

На веранде снова повисла тишина.

— Ну вот, бывает… — пробормотал Телепнёв.

— Я знаю, что у близнецов это случается, — потянулся мускулистым, поджарым телом Протопопов.

— А братик потому, что у мамы нашей покойной после контузии от взрыва бомбы случился выкидыш. Она ждала сына. То есть — братика, — проговорила Ольга, отталкиваясь спиной от буфета. — Мы тоже ждали братика. И вот, не дождались. А сон увидели.

Все помолчали.

— Вы у нас особенные, — улыбнулась Таис, кладя руку на Ольгино плечо.

— Yessss! — топнула туфелькой Вера. — Особенные! Мы все! А посему нам пора уже за стол! Прошу вас, гости дорогие!

— Да, да! — затряс брылями Телепнёв. — За стол! Немедленно и бесповоротно!

— Но мы забыли Ролана! — произнесла Таис с укором.

— О да!

— Ролан, дорогой!

— Забыли! Эх мы!

— В принципе, я мог бы и пропустить, — заулыбался Ролан.

— Нет уж, дорогой, читай!

— Порадуй нас новеньким!

Ролан сунул руки в карманы белых брюк и покачался на ногах:

— Так… читать вам современную немецкую поэзию я не буду.

— И не надо! — рявкнул Телепнёв.

Ролан прошёлся по скрипучему полу веранды, резко развернулся и встал напротив Ольги:

От твоей любви загадочной

Как от боли в крик кричу.

Стал и жёлтым, и припадочным,

Еле ноги волочу!

— Не преувеличивай, mein Негг, — сказала Ольга, слегка похлопав его по щеке.

— Дорогой, это простоватенько для тебя, — заметил Телепнёв.

— Это поэзия чистой виты… — Ролан снова покачался на ногах. — Сейчас…

Он резко крутанулся на месте и встал, глядя в открытую дверь на газон с брошенным на нём

серебристо-чёрным аэропилем:

погромово
пограбило
погробово

огромово
ограбило
огробово

громово
грабило
гробово

ромово
рабило
робово

омово
абило
обово

мово
било
бово

ова

ило

ово

во

ло

во

о

— Круто! — хлопнула в ладоши Таис.

— Это точно не Василиск Гнедов, — пробормотал Телепнёв.

— И не Монастырский, — почесал висок Лурье.

— Позже, — возразил Протопопов. — Похоже, это не неофутуризм, а визуальная поэзия Москвы советской. Я их плохо знаю… Сигей, Мальчук? Не помню…

— Альчук, — подсказала Лидия. — Классная поэтесса. “Изящерица” — это её.

— Ещё позже, — ответил Киршгартен.

— Позже?

— Позже. Сильно позже.

— Наше время? — не очень удивился Телепнёв. — Вполне! Так сейчас пишут тоже.

— Конечно, наше время! — хлопнула в ладоши Таис. — Так сейчас и надо писать. И в *молоке это* встанет… ух! Как Кентерберийский шпиль!

— Скорее, как теллуровый гвоздь.

— Клин! Белым клином — красных бей!

— И наоборот!

— Кто же это?

— Щегшк, — произнесла Ольга, подмигнув Киршгартену.

Ролан кивнул:

— Архип Щегшк.

— Архитектонично, — одобрительно мотанул брылями Телепнёв.

— Имя на слуху, — теребил бороду Лурье.

— Я тоже слышал.

— А я не слышала, — дёрнула плечом Лидия.

— Он откуда?

— Белорус, рос в Самаре, воевал, был ранен шрапнелью, потом переехал, естественно, за Урал.

— В общем — наш!

— Абсолютно!

— Поэзия жива, чёрт возьми!

— Жива, жива. Война её разбудила.

— И мы пока живы…

Протопопов потёр ладони и заглянул в дверь, ведущую в столовую:

— Поэзия жива! И она… многое в нас пробуждает. А не откушать ли нам, Верочка?

— Давно пора! Пойдёмте! Просим!

Все перешли с террасы в столовую.

Там был накрыт стол на восемь персон. Вера взяла в руку *мягкую умницу,* сжала, и через минуту в столовую вошла Даша в тёмно-зелёном платье с белым передником.

— Даша, мы здесь.

Все стали рассаживаться по местам. Стол был богато и со вкусом сервирован: заливная осетрина, сёмга, сельдь под шубой, осетровая икра, раковые шейки в томатном соусе, паштет из дичи, пирожки, тыква, полная свежих огурцов, всевозможные салаты, венки из цветов и свечи, хрустальная и серебряная посуда.

— Сегодня у нас русский стол, — объявила Вера.

— Прошлый раз был японский, помним, помним, — улыбалась Лидия, усаживаясь.

— А позапрошлый — монгольский. — Таис опустилась на стул рядом с Киршгартеном. — Я помню томлённый в молоке лошадиный желудок.

— Ну вот! Сколько языков, столько и кухонь! — громко заметил Пётр Олегович. — И все они разговаривают с нами!

— Китайский разговор поднадоел, — заметил

Протопопов. — Меня уже подташнивает от китайской кухни.

— Ваня, она очень разная, — откинула чёрные прямые волосы назад Таис. — Их всего восемь, и все разные, разные. Есть острые, есть кислые, есть сладкие, есть просто очень простые…

— Знаем, пробовали, — усмехнулся он. — “Борьба тигра с драконом”. Проще не бывает!

— Ролан, ты не *переплетаешь* китайцев? — спросила Лидия.

— Нет пока. Но готов.

— Du bist ein Riese![34] — пророкотал Телепнёв.

— Nach “Der Mann ohne Eigenschaften” — schon nicht[35].

Даша стала обносить всех квасом и морсом.

— Мне хочется выпить за стиль жизни Телепнёвых, — произнесла Таис. — Обычно пьют за уют дома, за гостеприимство, за радушие, за сердеч-ность, не люблю это слово, но я хочу выпить за ваш стиль жизни, дорогие Телепнёвы. Мы с Ваней никому никогда не завидовали и, надеюсь, не будем. Но ваш стиль, ваши отношения между собой, ваше пространство дома, космос, который

---

[34] Примечания: 34
Ты великан! *(нем.)*

[35] Примечания: 35
После “Человека без свойств” — уже нет *(нем.)*.

вы создали, ваша L-гармония вызывают у меня зависть. Лёгкую, конечно, лёгкую! Тяжёлая зависть — не для меня, я человек чудовищно счастливый. Я вам завидую, дорогие Петя, Вера и Глеб. Вы живёте стильно. Это дико звучит, но это правда! Стиль — это не модные наряды и интерьеры, не пафос, не blue lodge и не высокомерие. Хотя, конечно, milkscripter — это модная профессия, ничего не скажешь. Оба Петра, Ваня и Ролан — парни модной, хорошо оплачиваемой профессии. Но — стиль! Какой у вас гармоничный и красивый стиль! Я пью не за вас, а за ваш космос!

Она подняла бокал с морсом.

— Прекрасно сказано, Таис! За стиль! За космос Телепнёвых!

С Таис стали чокаться.

— Мы всегда готовы поделиться нашим космосом! — улыбалась Вера.

— Наши галактики распахнуты! — рокотал Телепнёв.

— Ваши галактики — наши галактики!

— И планеты!

— И планеты!

Гости приступили к трапезе. Даша наполняла бокалы.

— Хочу поделиться одной историей, совсем

свеженькой, — с аппетитом жуя, заговорил Протопопов. — Её парадоксальность компенсирует её свежесть, и наоборот. И наоборот! Вы знаете, что на смену фронтовой прозе, царствие которой довольно-таки, мягко сказать, прямо скажем… ну… э-ээ… под затянулось, да? пришло наконец время прозы постфронтовой, или, как её уже окрестили некоторые продвинутые умники, milklit'а, прозы голодных тыловиков.

Некоторые из обедающих хмыкнули — кто иронично, кто недовольно.

— Так вот, к моему издателю, Нариману, пришёл один из этих голодных. Вернее, его привели под руки жена и сын. Слепой юноша. Когда ударили ядром по Канску, он был мальчиком. И смотрел на взрыв. В общем, девятнадцатилетний слепой. Принёс роман. Издатель мой — человек толерантный, как вы знаете. "Хорошо, я готов *отведать*". Романиста усадили за стол, сын поставил перед ним блюдо, жена влила принесённого в канистре *молока.* Он стал *пахтать,* потом *лепить.* Потом *пластовать.* И за восемнадцать часов *напластовал* такую историю: Николай Гоголь просыпается в гробу после летаргического сна. Проснулся в ужасе, естественно, обкакался, описался, потерял сознание. Снова очнулся. И от

тотального ужаса, умирая от удушья, стал придумывать роман “Живые души”.

По гостям прошли вздохи разочарования и иронические хмыканья.

— Да, да, — “Живые души”. Умирая и задыхаясь во тьме гробовой, Гоголь стал придумывать этот роман, дабы вымолить себе прощение за сатиру на мир Божий, а заодно компенсировать тот самый кьеркегоровский экзистенциальный ужас, выдвижение в ничто, страх и трепет небытийности, как это точно звучит, Ролан?

— Кажется, Angest, Ваня. Но вообще-то… я не датчанин, а немец!

Все заулыбались.

— По-немецки это просто die Heidenangst.

— Genau! Спасибо, mein lieber Ролан. Вот. И этот слепой парень *спахтал* и *слепил* такую историю. Как вам идея?

— Лежит на поверхности. Весьма, — ответил Лурье, спокойно пожёвывая.

Лидия вздохнула:

— Это понравилось бы ушедшему от нас Виктору. Телепнёв выдохнул с усталым недовольством, раздувая щёки:

— Ну вот, Ваня… это… юмореска. Для рассказа в “Moloko Сибири” под Рождество — вполне

сойдёт. *Творожничек.* На роман не тянет. Да и на повесть.

— Вот я так же думал — *творожник.* Рассказ. Какой роман? Хотя парень слепой, усидчивый, прости меня, Амитофо, жертва войны, несмотря на молодость, *пластает* профессионально, *шестипал* и всё такое… Но, но! Нариман показал мне его *творог.*

— Ты *съел?* — спросил Телепнёв.

— Не всё, конечно. Пару *пластов.*

— Ну и?

Протопопов пожал острыми плечами и знакомо изогнул тонкие губы:

— Знаете, что я вам скажу? Это весьма недурно. И я ещё вам скажу кое-что, братья мои *молочные: это* новое.

Сидящие за столом смолкли, жуя и выпивая.

— А он что, долго смотрел на вспышку? — спросил Глеб.

— Вероятно, — кивнул Протопопов. — Мальчишка, что взять.

— Глупый мальчишка. — Глеб зло оттопырил губу. — И родители дураки, ничего ему не рассказали о ядерке.

— А может, он испугался? — Вера положила руку на плечо сына.

— Если б испугался, сразу бы спрятался, — возразил Глеб.

— Ты в Белокурихе сразу спрятался?

— Ну… не сразу. Но я в пять лет знал, что такое вспышка!

— Вспышки у нас тогда не было видно. Горы нас спасли. А в Канске, дорогой мой сынуля, гор не было, — проговорил Телепнёв. — Ваня, а что значит для тебя — новое?

— *Замес,* только *замес.*

— *Это* ясно, любое искусство — это не что, а как. То есть парень хорошо *пахтает?*

— Не только хорошо. Он по-другому *пахтает. Я* увидел там новую зернистость *масла.* Поэтому его *творог* другой плотности. И *сыворотка* — как слеза.

Лурье и Телепнёв переглянулись. Киршгартен невозмутимо жевал.

— Другая зернистость, — проговорила Лидия с осторожностью. — Это звучит как… другой мир!

— Иван, другой зернистости не было у фронтовиков, — заговорил Телепнёв с нарастающим раздражением. — Они *пахтали* так же, как и мы. Формальных открытий они не сделали. Там просто была другая слойка *пластов.* Они по-другому *пластовали,* и не более того! Но плотность их

творожной массы осталась прежней!

— Прежней, — согласился Протопопов.

— Поэтому они и продержались всего четыре года, — заметил Лурье. — Мода прошла! Читатели наелись.

— Все мы объелись фронтовой литературой, — вздохнула Ольга. — До изжоги.

— Новая зернистость… — качала головой Лидия. — Поверить невозможно…

— Новая зернистость, — кивал Протопопов, накладывая себе в тарелку раковых шеек.

— Ну вот! Новая зернистость! — Телепнёв швырнул вилку на стол. — Откуда она у тыловиков, когда её не было у фронтовиков?!

— Не знаю! — выдохнул Протопопов.

— Ты не преувеличиваешь?

— Пётр, дорогой мой, у Наримана в *холодильнике* я увидел *масло* другой зернистости. Другой! Вот этими самыми глазами!

Телепнёв перевёл свой раздражённый взгляд с задумавшегося Лурье на Киршгартена:

— Ролан, ты в это веришь?

— Верю. — Тот спокойно сделал глоток кваса.

Телепнёв угрюмо-непонимающе вперился в него.

— Я *съел* “Живые души”.

Все уставились на Киршгартена. Поставив бокал, он вытер спокойные губы салфеткой с изображением оленя на фоне Алтайских гор:

— И дело не в том, что это тыловая литература.

— А в чём же?

— В самом парне.

— То есть?

— То есть это не просто тыловик. А — слепой тыловик.

За столом повисла тишина.

— Слепой тыловик, — повторил Киршгартен.

— Ну и что? Среди фронтовой волны было два слепых прозаика, — заговорил Лурье. — Ким и Хворобей.

— Были! — кивнул Телепнёв. — Ким шибко не запомнился, а Хворобей — вполне крепкий прозаик. Я *съел* его “Стеклянные цепи”. Плотный, свежий *творог!*

— Слоистый, густой, — кивал Лурье.

— Густой и жирный, — согласился Протопопов.

— И Ким, и Хворобей не выламывались из фронтовой литволны, — продолжил Киршгартен. — Они *пластали* добротную фронтовую прозу.

Здесь же, когда я *ел* это, то определение “тыловая проза” даже не всплыло в голове. Это не

тыловая проза. Это просто проза. Хорошая, густая проза этого парня. Лично его. Хотя он — стопроцентный тыловик, поколение R.

— То есть он просто… сам по себе? — спросил Телепнёв.

— Он сам по себе.

Протопопов несогласно замотал головой:

— Нет, Ролан, это проза его поколения, это именно тыловая проза.

— Назови её хоть трижды тыловой, но важно, *как* она сделана.

— Она поколенческая!

— Нет, Иван, она безвременна. Как и проза Петра, как твоя проза, как проза Пети. Этот парень — ваш. Он одиночка. Но *зернистость* у него другая.

За столом снова воцарилась тишина.

Киршгартен спокойно пил свой квас и закусывал.

— Скажи, Ролан, — нарушил тишину Протопопов. — Ты это *ел* когда?

— Неделю назад.

— Значит — после меня.

Женщины молча занялись закуской.

— Нет! — Телепнёв стукнул кулаком по столу. — Ну вот! Не верю! *Творог* — одно дело! Пласты,

слоистость, жирность, свежесть. Но *масло?!* Зерно! Как… как зовут этого парня?

— Ами Гоу. Псевдоним. Настоящее имя я не запомнил… кажется… Глущак или Гаврищак… не помню. Да и неважно. Ами Гоу.

— Ами Гоу, — произнесла Лидия. — Красиво!

— Amigo, — проговорила Ольга, бросив на Киршгартена откровенный взгляд.

— Молодые авторы почти все скрываются за аватарками. — Таис протянула пустой бокал Даше, и та стала наполнять его. — Почему? Фронтовики не скрывались.

— Им стыдно, — произнёс Протопопов.

— Чего?

— Стыдно, что их родители, то есть фронтовики, не смогли предотвратить войну.

— Я об этом не думала.

— Подумай. — Протопопов потянулся к заливному.

— То есть… тогда это просто новый роман? — продолжал рассуждать Телепнёв.

— Да! — бодро кивнул Киршгартен. — Новый густой роман. В кабинете у Наримана родился, Пётр, твой конкурент.

— И ты прилетел, чтобы сказать мне об этом? — угрюмо усмехнулся Телепнёв.

— Ну Петя… — Вера сжала руку мужа.

Ольга презрительно хмыкнула.

— Я прилетел, Пётр Олегович, чтобы выпить за твой новый роман, — невозмутимо проговорил Киршгартен, поднимая бокал.

— Да, пора бы! — взялся за свой бокал Лурье. — А что до новых конкурентов, Ваня, мы, два Петра, им только будем рады!

Все, кроме Телепнёва, рассмеялись. Он же сидел с покрасневшим, насупившимся лицом.

Бокалы потянулись к нему.

— Петя. — Вера погладила его по руке. — Мы пьём за “Белых близнецов”.

— За “Белых близнецов”! — бодро улыбался Киршгартен.

— За “Белых близнецов”! За “Белых близнецов”!

Телепнёв нехотя поднял свой полупустой бокал. Вера забрала у Даши кувшин и наполнила квасом бокал мужа:

— За “Белых близнецов”!

Стали чокаться.

— Ну вот, Ролан. Ты сегодня забил два клина. Один в нас, другой в меня.

Все рассмеялись.

— Пётр, от этих клиньев мы все станем лишь

крепче, — ответил Киршгартен.

— И мы оч-чень надеемся на чтение, — подмигнул Телепнёву Лурье.

— Без этого я не улечу! — заявил Киршгартен.

Все выпили. Телепнёв скользнул недовольным взглядом по пьющим, потом ополовинил свой бокал. В нём, раскрасневшемся, уже проступило что-то детское, беспомощное.

— Нет, ну вот… — тряхнул он красными увесистыми щеками. — Послушайте! Ролан, Петя, Ваня, Лидочка! Чёрт возьми, ну вы же знаете меня прекрасно! Я же не Алиса Хелльман, не Вальд Мэй! Я только рад, если взошла новая milklitstar! Я первым протяну ей руку! Если родился новый достойный роман — это прекрасно! Это здорово! Если этот Амиго лихо *напластал* — это круто! Но — *масло!* Но — *зернистость!*

— Новое! — неумолимо произнёс Киршгартен с таким уверенным спокойствием, что Телепнёв закашлялся.

— Новое… — пробормотал он, доставая платок и тяжело откашливаясь. — Ты говоришь… ладно, новое — пусть будет новым. В общем… Ролан… пока я не увижу это новое в *холодильнике* у Наримана и пока не отведаю — не поверю!

— Это просто устроить, — щёлкнул языком

Протопопов и рассмеялся. — Петь, ну я прошу прощения, чёрт с ней, с этой *зернистостью,* просто хотелось поделиться жареной новостью!

— Нет, не чёрт с ней! — пророкотал Телепнёв, стукнув по столу. — Не чёрт! С нею Бог, Ваня, и ты это прекрасно знаешь! Творчество божественно! Поэтому так важна точность в его оценках. Точность тайн! Скупая и исчерпывающая! Так что закроем вопрос о новом *масле!* Когда точно увижу лично — продолжим!

— Abgemacht![36] — ответил Киршгартен, подмигивая Ольге.

— Да, сменим тему, — откинулся на спинку стула порозовевший от еды Лурье. — Мне вот что недавно пришло в голову. Смотрите: пахать и пахтать. Два глагола. И всего лишь одна согласная меняет их смысл. Правда, что это символично?

— Верно! — откликнулся Телепнёв. — Мы пахали и мы пахтали!

— Именно! Но!

Лурье поднял пухлый палец и, выдержав паузу, продолжил:

— Но меняет ли смысл эта буква “т”?

— Нет! — воскликнул Телепнёв и облегчённо

---

[36] Примечания: 36
Решено! *(нем.)*

расхохотался. — Конечно, не меняет! Ты пахал, значит, ты и пахтал!

— Мы пахали, значит, мы и пахтали! — подхватил Протопопов. — Браво!

— Как попахали, так и попахтали! — оживилась ещё больше Лидия.

— Глубока пахота, глубока и пахта! — вставила Вера.

— Как попашешь, так и попахтаешь, — усмехнулась Ольга.

— С кем напахался, с тем и напахтался! — рассмеялся Лурье. — Это случается!

— Слушайте, это тост! — тряхнул пылающими щеками Телепнёв. — Петя, ты гений!

— Пётр, я просто решил сменить тему! — развёл руками Лурье, и все рассмеялись.

— За глубокую пахту! — поднял бокал Телепнёв. Все чокнулись и выпили.

— Дашенька, можно подавать уху! — распорядилась Вера.

Даша ушла на кухню.

— Уху! Ушицу! — хлопнул и потёр ладони Телепнёв.

— Из китов каких океанов? — Лурье промокнул салфеткой выступивший на лбу пот.

— Из наших алтайских речек! Стерлядка!

— Прелестно!

— А что… уже можно? — спросила Таис.

— Уж второй год всё чисто! — спешно доедал заливное Телепнёв. — Всё уже давно… ммм… утекло в Обь, а из Оби в Ледовитый океан, под вечные льды! Да и вообще… не надо делать из остаточной радиации культа. Надо жить, дамы и господа!

— Святая правда! — закивал Лурье.

— Да и реки очищаются быстрее всего, — ободряюще вздохнула Лидия.

— Ну и таблетки есть… — вздохнула Ольга.

Даша вошла с суповницей и поставила её на край стола. Вера встала и стала помогать Даше разливать уху по тарелкам и подавать гостям.

— Запах, запах! — Протопопов артистично помахал руками, привлекая запах из суповницы к себе, и, обхватив ладонями невидимый шар, поделился запахом с Таис. — Причастись!

Та опустила смуглые веки, прикрывая свои миндалевидные глаза, громко вдохнула и прошептала:

— Фэнчаньхао![37]

— И это правда! — поднял палец Телепнёв. —

---

[37] Примечания: 37
Великолепно! *(кит.)*

Великолепней стерляжьей ухи нет ничего!

— Согласен! — шлёпнул по столу Лурье. — Даже суп из омаров меркнет.

— Ну вот! А под неё оч-ч-чень советую — белого, ядрёного кваску! — Телепнёв прищурился, обводя всех грозным взглядом.

Вскоре маленькие рюмки были наполнены белым квасом, Телепнев поднял свою, открыл было рот, но жена приложила палец к его пухлым тубам:

— Я!

Склонив голову, муж приложил ладонь к груди.

— Дорогие мои, — заговорила Вера Павловна, держа рюмку в руке. — Я, как вы знаете, филолог и всю жизнь связана с книгами — бумажными, электронными, аудио, holo, а теперь и milkbooks. Мы сегодня с Глебом попали под ливень, я пошла искать его через наш ельник и наткнулась на *мягкий* куб. Он в лес заполз.

— Может и в дом заползти, — сообщила Таис.

— И в ванную, — пробормотала Ольга.

— Так вот, когда я в сумраке вдруг упёрлась в куб, мне пришла в голову такая, в общем, простая мысль: мы все, нынешние читатели, упираемся. Постоянно сейчас упираемся. Упираемся в про-

шлое. Вспомните, о чём мы сегодня говорили: как бумлит конвертируется в milklit, о фронтовой прозе, о постфронтовой, о тыловиках, мы постоянно сравниваем milklit с романами пятидесяти-, семидесятилетней давности, вспоминаем бумагу, думаем о ней. Сегодня до дождя я в гамаке читала бумажный роман, “Les Bienveillantes”. А мысли были о его конвертации!

— Значит, о будущем? — вставил Протопопов.

— Если бы! — сокрушённо взмахнула руками Вера. — Это будущее в прошлом, future in the past! Этот тот невидимый куб, в который мы упёрлись, как ни парадоксально, после изобретения milklit! Теперь мы упёрлись в наше литературное прошлое, оно наползает на нас, как ледник, это трудно сформулировать… легче ощутить. Великолепный, фантастический, сногсшибательный milklit, казалось бы, должен был отбросить прошлое и распахнуть новые горизонты, которые бы всосали нас, как пылесос, как аэродинамическая труба, и дали бы такую радость новизны, от которой мы все бы преобразились. Мы же, наоборот, ощутив всю мощь и беспредельность этих горизонтов, стали оглядываться! Мы *поедаем новое и* оглядываемся, оглядываемся! Наши деды рассуждали о смерти бумажной книги после появления

книги цифровой, шли дискуссии — выживет ли книга? Выжила у букинистов. Но сейчас, когда эпоха цифровой книги по сравнению с эпохой, нет, эрой milklit — просто детский лепет, мы ещё пристальней уставились в книгу!

Она смолкла, прижав руки к груди. Все почувствовали её волнение и молчали. Вера обвела сидящих за столом взглядом своих блестящих глаз.

— Я… я сыта бумагой!

Сидящие зашевелились.

— Я сыта бумагой, дорогие мои, и я хочу призвать нас всех: хватит есть прошлое, хватит кушать бумагу!

— Браво, Верочка! Накушались! Полностью согласен! — воскликнул Лурье и зааплодировал.

Телепнёв тоже зааплодировал.

— Книги — пылесборники! — усмехнулся Протопопов. — Это мой папа говорил. Но я не спешу их выкидывать.

— Почему? — спросила Ольга. — Я почти все вышвырнула.

— Что-то мешает.

— Понятно что. Ты профессионал.

— Он milkscripter, Оля! А дорожит бумагой! — воскликнула Вера. — Это ли не нонсенс?!

— Я так чихала, когда совала книги в пакеты.

Протопопов пожал узкими плечами:

— Не могу сказать, что я дорожу бумагой. Я просто… как сказать… не хочу расставаться с…

— С прошлым! С прошлым!

— Да нет, Вера, это не совсем так. И я мало оглядываюсь на бумагу. Скорее вот что — валяется старый камень возле нового дома. И жаль его выбросить. Не потому что он с чем-то связан и что-то напоминает, а просто… потому что это — старый валун!

— У меня такое же чувство! — дёрнул массивной головой Телепнёв. — И я кр-р-р-райне редко читаю бумагу! Но не выбрасываю!

— А может, это поколенческие издержки? — спросил Киршгартен.

— Скорее всего! — закивала Вера и указала на приступившего к ухе Глеба. — Вот кто не будет оглядываться на бумагу!

— Я вообще не люблю оглядываться, — пробормотал Глеб.

— Знаете, дорогие, — продолжила Вера. — Чтобы завершить эту тему: я очень голодна. Я хочу *есть* новое. И только новое! Есть! Есть! Есть!

Телепнёв резко вскочил, опрокидывая стул:

— И сегодня — будешь!

— Мы тоже! Ради этого и приехали к вам! Будем! Стул подняли, Телепнёв уселся на него.

— Пока я монологизировала, уха остыла? — Вера опустилась на своё место. — Извините!

Лурье зачерпнул ухи, попробовал:

— М-м-м! Самый раз! Уха фантастическая! Божья слеза!

— Очень вкусно… — попробовала Таис.

— Это не просто вкусно… это божественно… — заключил Протопопов.

— Наш Фока превзошёл себя, — пробормотала Ольга. — Без аберраций…

— Ну вот! Рецепт моей бабушки! — поднял палец Телепнёв.

Киршгартен ел уху молча.

— А Ролан молчит! — громко прошептала Вера.

— Ролан, как тебе? Не очень? — Со смешком Лидия толкнула его в локоть.

— Я молчу, потому что нет слов. Слов нет.

— У меня тоже! — пробормотал Телепнёв.

— И спешу предупредить, что после ухи перед чтением ничего съестного не будет, — сообщила Вера.

— Коне-е-е-чно! — пропела Лидия. — Не ухой единой жив человек! Moloko!

Все стали есть уху.

— Веруша, спасибо за яркий спич, — пробормотала Лидия. — Подписываюсь под каждым словом.

— И я.

— И я.

— И я подписываюсь.

Вера, улыбаясь, ела уху:

— Спасибо… я несла что-то… слишком эмоционально…

— Так и надо!

— Вера, это даже не “новая послевоенная искренность”, а — просто искренность. Мы все по ней скучаем за своими столами.

— Я бы всё-таки что-то добавила, — заговорила Лидия. — Верочка, ты сказала так прекрасно. “Я хочу *есть!”* Лучше не скажешь. Но, дорогие мои… дорогие мои *молочные* братья и сестры, наша цивилизация подарила нам milklit. Это… это настолько сильно и ярко, настолько сногсшибательно, что я не знаю, с чем это сравнить! Трудно. Когда появились смартфоны, это было, конечно, потрясением, рождественским подарком человечеству, но… нет! Нет!! Не-е-ет!!

Она с силой хлопнула ладонью по столу.

Все перестали есть.

— Нет! Нет! Нет!

Лидия с досадой покачала головой, покусывая губы. Её широкое лицо снова побледнело, черты заострились.

— Я несу чушь, банальщину, простите… — пробормотала она.

— Лида, дорогая… — начал было Телепнёв.

— Нет! — повторила она с нервным выдохом. — Какие слова могут выразить то, что дало нам *молоко?* Нет таких слов. И не будет. А посему…

Она приподнялась со стула, расстегнула свою блузку тёмно-брусничного цвета, расстегнула чёрный бюстгальтер, резким движением сняла его и бросила на пол. Распахнула блузку. Её полная грудь с небольшими розовыми сосками обнажилась. На груди и животе у Лидии белела, переливаясь, *живая* татуировка: водопад *люлока,* зародившись в грудине, ниспадает ниже и обрушивается на обнажённую девушку, подставившую своё тело под белый поток. Девушка купалась в *молочном* потоке. Её стройная смуглая фигурка и изливающийся сверху, строго вертикальный, геометрически ровный водопад контрастировали с полноватым телом Лидии.

— Я это сделала на прошлой неделе, — произнесла она.

Все, кроме Лурье, сидели оторопев.

Он же протянул к жене свои ладони и стал медленно ими хлопать. Эти равномерные хлопки гулко зазвучали в тишине столовой.

Телепнёв восторженно тряхнул головой, вскочил и зааплодировал.

— Браво, Лидия! — воскликнула Таис и захлопала в ладоши.

Все, за исключением Глеба, зааплодировали. Замерев с ложкой, полной ухи, он смотрел на тело Лидии.

— Лида, ты… ты валькирия milklit! — пророкотал Телепнёв и издал победоносный клич.

Протопопов, Таис, Киршгартен, Вера и Лурье приветственно закричали на разные голоса.

— Это… великолепно! — качал головой Протопопов, яростно аплодируя. — Ве-ли-ко-лепно!!

Шум и аплодисменты заполнили столовую. Глеб вылил уху из ложки в тарелку, откинулся на спинку стула, вложил два пальца в рот, попытался свистнуть, но у него не получилось.

— Вот так! — произнесла Лидия, наклоняясь за бюстгальтером.

Но муж опередил, поднял. Она оделась под неугасающие аплодисменты.

— Лидочка, ты всё сказала! — радостно смея-

лась Вера. — Всё!

Ольга тоже хлопала, но молча и без улыбки.

— Надеюсь! — нервно усмехнулась Лидия, застёгиваясь.

— Ты всем перебила аппетит! — улыбался довольный Лурье, целуя руку жены.

— Наоборот! — воскликнул Телепнёв.

— Наоборот! — кивала Вера.

— Наоборот! — серьёзно поглядывал на всех Киршгартен.

— Bon appetit! — произнесла Лидия, беря ложку. — Я должна была вам показать.

— Непременно!

— Обязательно!

— Это… сильно, Лида!

Все набросились на уху.

Телепнёв первым расправился с ней и показательно облизал ложку:

— Tres bon!

— Добавки не будет, — сурово предупредила Вера.

— Знаю. Даша! Зови Фоку!

Даша ушла на кухню.

В столовую вошёл Фока в не очень новом поварском халате и колпаке.

Телепнёв встал и молча поклонился повару.

Все зааплодировали. Фока приложил пухлые, голые по локоть руки к пухлой груди и ответно поклонился. Было ясно, что у Телепнёвых это уже сложившийся ритуал.

— Дашенька, уносите уху от греха! — распорядилась Вера.

Даша исполнила.

Когда гости доели уху, Телепнёв улыбнулся и обвёл всех торжественным взглядом:

— Готовы?

— Всегда готовы! — ответила за всех Таис.

— Тогда — прошу!

Он встал и пошёл из столовой. Все двинулись за ним.

— Пойду постреляю, — пробурчал Глеб с недовольным выражением лица.

— Иди, иди, сынок. Дело хорошее. — Отец любовно взъерошил ему волосы.

Глеб отправился на стрельбище через веранду. Остальные последовали за Петром Олеговичем. Громко ступая тяжёлыми ногами, он поднялся по лестнице на второй этаж, приложил ладонь к матовому квадрату на двери своего кабинета. Пропищал сигнал открывания замка. Телепнёв распахнул дверь, посторонился, косолапя и сделав пригласительный жест рукой:

— Прошу!

Вера, Ольга, супруги Лурье, Протопопов, Таис и Киршгартен вошли в кабинет.

Он был вполне себе большим. Посередине кабинета, устланного китайским ковром с изображением горного пейзажа с водоёмом, стоял прямоугольный, тумбообразный стол из светлого ясеня. Стол был совсем простым, без украшений — только ровные деревянные плоскости, грани и углы. К столу был придвинут простой дубовый стул с высокой спинкой и на колёсиках. На другой стене висели фотографии родных и предков. Третью стену, где была входная дверь, занимали полки с книгами. Четвёртая стена кабинета вся была занята огромным холодильником под цвет рабочего стола. На холодильнике виднелись три двери с такими же матовыми квадратами, как и на входной. В углу стояла стопка складных стульев, прислонённых к стене. Вера взяла свой стул, остальные стали разбирать и раскладывать стулья. Телепнёв подошёл к крайней двери холодильника и приложил ладонь к квадрату. Дверь пискнула и отошла в сторону, открывая подсвеченное пространство четырёх полок. На каждой из них стояло по большому блюду с *умным* молоком и кусками *творога* разных размеров. Пётр

Олегович взял одно блюдо с небольшим куском *творога.* Дверь закрылась.

Он перенёс блюдо на стол, поставил, сел на свой стул на колёсиках и придвинулся к столу.

Тем временем все рассаживались вокруг стола.

— Веруша, очки. — Выдвинув ящик стола, Телепнёв достал коробку тёмно-синего пластика, открыл и стал передавать жене дая всех такие же тёмно-синие очки, похожие на плавательные. Свои тёмно-синие очки он достал из центрального ящика стола и тут же надел. Все очки были с круглыми линзами. В очках массивное, щекастое лицо Телёпнева приобрело грозное выражение. Надев очки, все подвинули стулья к столу и замерли, сев поудобней.

— Ну вот, — произнёс Телепнёв, закатывая рукава своей холщовой толстовки. — Продолжим то, что я уже ранее показывал. “Белые близнецы”. За месячишко кое-что слепилось.

Все замерли.

Засучив рукава, он ловко размял свои пальцы и погрузил их в *молоко.* Пальцы задвигались, *молоко и творог* отозвались им. Очки у всех сразу активировались, на них сбоку загорелось по синей искре.

В тарелке стал расти массив *творога,* множась

структурно и раскрываясь энергетически. Дрожь пробежала по телам сидящих. И начался процесс поглощения текстовой массы:

Ночь качнулась в сторону утра, бледнея небом, луной и звёздами, светлея востоком, куда уже вторые сутки двигались путники. Вторые сутки кони из чёрного живородящего пластика без усталости и остановок несли на своих спинах Оле, Алю, старика-инвалида, Плабюх и Хррато. Они следовали за белым вороном. Рассекая морозный воздух своими сильными крыльями, тот присаживался на дерево, ждал приближения конных, вспархивал, летел дальше, легко паря, снова садился на дерево или пень, ждал, когда кони приблизятся, и снова взлетал. Ворон указывал путь. Он летел на северо-восток, через лес, над сопками и слежавшимся, твёрдым снегом, который неутомимо крошили пластиковые копыта.

За всё время пути никто из всадников не проронил ни слова. Белый ворон, его прерывистый полёт полностью заворожили их. Глаза пятерых пристали к ворону, к его голове со слегка загнутым на конце белым клювом, держащим золотое пенсне, к розовым глазам с чёрными зрачками. Ворон тянул и тянул их за собой невидимой струной, раздвигая безжизненное зимнее

небо своим телом.

Ночь отступала. Восток светлел, наполняясь скупым теплом дня. Звёзды ещё блестели, но уже не так остро и грозно, как в полночь и за полночь.

Всё это время сопки тянулись нескончаемо — кони взбирались по склону, поросшему редким лесом, потом спускались, чтобы вскоре снова подниматься по пологой спине следующей сопки.

Светало с каждым конским шагом. Снег хрустел, но уже как-то по-утреннему, обещая свет дня и солнце на безоблачном небе.

Кони спустились с сопки в долину и пошли глубоким снегом, проваливаясь по брюхо. Усевшийся на обломок лиственницы ворон дождался их, взлетел, поднялся на воздух и стал планировать над долиной. Плабюх и Хррато привычным движением пяток направили лошадей. Но те и так шли почти по прямой — как летел ворон.

Долина тянулась между сопками. Редкие хвойные деревья да невысокие берёзы росли на ней. Плотный, слежавшийся снег хрустел и вздымался под лошадьми. Спугнутый заяц метнулся из заснеженных кустов и легко запрыгал по насту. Вдали ворон резко спланировал вниз. И на золоте пенсне сверкнула искра: солнце!

Солнечный луч достал из-за сопок. Хотя самого солнца путникам ещё не было видно. И словно по команде — звёзды отпрянули вверх, теряя силу. И большая луна стала плоской и бледной.

Ворон уселся на берёзку, но не потерялся на фоне снега: его фигурка была светлее, словно неистово белый мрамор. К этой точёной фигурке пристали глаза всадников. Лошади подошли ближе. Ворон дождался, не глядя на них. Он сидел в профиль — мраморная птица, выточенная невидимым резцом.

И резко взлетел. Взял левей и полетел на дальнюю, самую большую из сопок. Она возвышалась над другими, западный и южный склоны её покрывал густой старый лес. Это были лиственницы и сосны, разлапистые, заснеженные. Ворон взмыл над ними и, став совсем крошечным, сверкнув крыльями на солнце, уселся на макушку сосны.

Люди направили механических коней, и те взяли левей.

Склон сопки был долгим и пологим. Вороные шли и шли по нему, взбираясь выше, обходя деревья, перемалывая снег ногами.

Солнце, ещё невидимое, заискрило на снежных макушках сосен. И на самой высокой из них сидел тот, кто не блестел на солнце, будучи белее

снега.

Наконец кони подошли к сосне. Потеряв своего проводника из виду, всадники задрали головы. Но ворона не было видно, он по-прежнему сидел на сосне. Кони встали.

Прошла минута. Другая.

Наверху захлопали мощные крылья, ворон спланировал вниз, замелькал между стволами и сел на сухую расколовшуюся ель. Кони двинулись к нему. Ворон сидел, сжимая пенсне в клюве. Кони подошли к обломку ели совсем близко. Хррато и Плабюх остановили их.

Белый ворон, за которым всадники следовали вторые сутки, сидел неподвижно, словно окаменев. Затаив дыхание, пятеро уставились на чудесную птицу. Ворон был совсем рядом, как тогда в круге, — большой, ярко-белый. Это длилось и длилось. И всадники смотрели не отрываясь.

Ворон сидел.

Розовый глаз его моргнул. И ворон резко вывернул голову в сторону. Взгляды пятерых повернулись вслед за этой белой точёной головой, покорно направлению взгляда ворона. Его глаз впился в лесную чащобу. Там, в глубине, в переплетении веток трёх упавших деревьев и заснеженных кустов, виднелась маленькая избуш-

ка, похожая на охотничий домик. Два больших сугроба сдавливали избушку с боков, на крыше лежал толстый пласт снега. Квадратная дверь была распахнута. Этот квадрат был тёмным, даже чёрным и резко контрастировал со снегом, который уже местами начинал поблёскивать на восходящем солнце.

Посидев немного, ворон снялся с места, взмахнул крыльями и спланировал к избушке. Пролетев между стволов и ветвей, он исчез в чёрном квадрате двери.

Хррато и Плабюх тронули пятками пластиковые бока своих вороных. Кони дошли до чащобы и стали. Белые близнецы спешились и пошли по снегу к избушке. Оле неловко сполз с крупа лошади в снег. И сразу же инвалид так же свалился в снег, заворочался, хрустя настом. Аля сидела на своём месте, заворожённая, но зашевелилась и соскользнула с лошади, упала и тут же поднялась.

Хррато и Плабюх, как лунатики, гили к избушке через чащобу по глубокому снегу, проваливаясь и выбираясь, хрустя валежником. Аля бросилась за ними, но упала — затёкшие за время этой долгой езды ноги не слушались. Она поползла по насту. Оле поспешил за ней, но тоже упал, застонал, вскрикнув:

— Ад ноупле!

Инвалид пополз по насту. Аля вцепилась в брата, толкнула его вперёд:

— Ну! Ну!

Тот неловко пополз, обдираясь о ветки валежника. Они поползли вместе. Инвалид поспешил за ними, ползя на руках. В это время белые близнецы, перебравшись через два заснеженных сосновых ствола и преодолев куст и сугроб, оказались перед избушкой. Их фигуры застыли перед чёрным квадратом двери.

— И мы, и мы!! — закричала Аля пронзительно, подталкивая ползущего брата.

Торчащие из-под снега ветки цеплялись, хрустели, ломаясь.

— Господи, помоги! — взвыл инвалид и замолотил руками по снегу, как по воде.

Он перетащил своё тело через ствол упавшей сосны, пополз, хрустя валежником.

Плабюх и Хррато шагнули вперёд и исчезли в чёрном квадрате.

— Нет, нет!! — завопила Аля, кидаясь к избушке.

Продравшись через валежник, она встала перед чёрной дверью. И оглянулась:

— Оле!

Она забормотала в сильнейшем волнении:

— Нам — туда! Туда! Туда! Там — наше! Наше! Хороший наше!

Брат полз изо всех сил, бормоча своё “ад ноупле”. Ватник его застрял в ветках бурелома. Стоная и причитая, он расстегнул его; извиваясь, выполз из ватника, протиснулся под стволом и, загребая снег руками, подполз к ногам сестры, уцепился за них.

— Оле, Оле! — повторяла она, глядя в чёрный квадрат и помогая брату.

Руки её ходили ходуном, губы тряслись. Схватившись за сестру, Оле стал привставать. Они зашатались, но не упали и обнялись. Уставившись в чёрный квадрат двери, они замерли, всхлипывая и тяжело дыша. И шагнули вперёд. И исчезли в чёрном пространстве.

Ползущий по следу Оле инвалид одолел валежник, но под сосновым стволом застрял в сучках и завопил бессильно, на весь безмолвный утренний лес:

— Господи, помилу-у-уй!! Господи, поми-и-илуй!!!

Он почувствовал, что остаётся здесь один. Вороные механические лошади стояли неподвижно, как каменные. Чёрные головы лоснились на

солнце.

— Да что ж такое… Господи! Господи, твоя воля! — ворочался под стволом инвалид, отплёвываясь от снега.

— Ну нельзя же так… мать вашу… нельзя-я-я!! — Он дёрнулся, затрясся грузным телом изо всех сил.

Ватник его затрещал, шов левого рукава стал расходиться. Старик поднатужился и проволок своё тело под стволом, оставив рукав ватника на сучках. — Господи, Господи, Господи… — бормотал он с одышкой.

По следам вошедших в избушку он дополз до её порога. Над ним висело абсолютно чёрное квадратное пространство дверного проёма. Инвалид схватился за обледенелый порог, подтянул своё тело. Слегка отдышавшись и пялясь в непроглядную тьму внутри избушки, он пробормотал: "Господи, помилуй!", набрал в грудь побольше воздуха, как перед нырком в прорубь, и вполз в чёрный квадрат.

Тьма избушки — густая, давящая беспросветно, пахнущая старым срубом и сухими травами, сморгнулась, как пелена.

Аля, Оле, Плабюх, Хррато и старик открыли

глаза.

И зажмурились: мир, в котором они оказались, был слишком ярок.

Первым открыл глаза Хррато.

Потом постепенно — все остальные.

Они сидели на пашне в центре огромного поля. Вокруг расстилалась великолепная равнина — поля паханые и непаханые, ровные луга раскинулись до самого горизонта. А *там, вдали, синела тонкая полоска леса. Полуденное солнце светило с чистого неба. И было тепло. И пахло началом лета и свежей землёй. Инвалид взял ком земли, поднёс к лицу. В земле шевелился червяк. Старик понюхал ком. Из здорового глаза его потекли слёзы. Он заплакал, прижимая землю к груди. Остальные сидели поражённые, оглядываясь. Раскинувшийся кругом простор потрясал своей бескрайностью. Над всем этим простором сияло солнце и, как купол, висело небо и летнее спокойное тепло.*

Плабюх встала, завертела белой головой. Оле встал. Аля сидела, вцепившись пальцами в землю, словно боясь потерять её. Быстро вскочил Хррато. Старик-инвалид плакал и крестился, прижимая ком земли к груди.

Повертев головами, четверо уставились на

невероятных размеров гору, возвышающуюся за синей полоской леса. На первый взгляд гора показалась им дальней тучей, занявшей полнеба. Но это была не туча, а огромная, невероятно широкая и высокая гора, уходящая вверх и расплывающаяся вершиной в синем небе. Гора была по-настоящему гигантской. От её размеров захватывало дух. Основание её раскинулось за полоской леса — широко, мощно, занимая почти всю северную часть пейзажа.

Старик-инвалид, наплакавшись, вытер глаз свой и тоже уставился на гору.

— Гроза? — спросил он и рассмеялся, затряс головой. — Или гора? Без пенсне не разгляжу. Господи, спасибо Тебе!

Он перекрестился. Затем приподнялся на своих культях, расстегнул засаленные ватные штаны и стал мочиться на сырую землю. Четверо молча глянули на старика и, вспомнив, что двое суток непрерывно, безостановочно ехали на лошадях за вороном, сделали то же самое: помочились, каждый по-своему, отворачиваясь или нет.

— Ну вот и слава Богу, — облегчённо улыбнулся инвалид, застёгиваясь.

И подставил лицо солнцу. Это лицо, обезображенное багрово-фиолетовой опухолью, обвет-

ренное, морщинистое лицо старого человека с большой белой бородой, прошедшего через лихолетье времени, застыло в солнечных лучах, как в янтаре. Здоровый глаз зажмурился, а другой, всегда полузакрытый, до которого дотянулась страшная опухоль, выпустил слезу.

— Вот и слава Богу, — повторил старик.

Он приподнял свою облысевшую голову, подставляя лицо полуденному солнцу. Борода его поднялась белым кустом и мелко задрожала. Старик дёрнулся всем своим грузным покалеченным телом, хрипло втянул тёплый летний воздух и повалился навзничь на пашню.

— Как не было, как стало и не надо, положили нам и простить там, как это всё, как хорошо, что делали... — забормотал он, закатив глаза. Дрожь овладела им. И стало ясно всем, кто это видел, что это — дрожь предсмертная.

В это мгновенье гигантская гора пришла в движение и стала приближаться. Вершина её закрыла солнце и полнеба, тень упала на пятерых людей, и стоящие в ужасе попятились. В вышине над ними возникло гигантское человеческое лицо. Гора была гигантским человеком. Огромные щёки, толстые губы, глаза за круглыми линзами очков — всё это было исполинским, бледным,

размытым высотой, всё неотвратимо нависало над миром.

Губы размером в два горных кряжа разошлись, и в небе раздалось громоподобное:

— Ну вот!!!

Стоящие на пашне попадали и в ужасе закрыли головы руками. И только старик-инвалид лежал навзничь и дёргался, прощаясь с жизнью.

— Не бойтесь, дорогие мои!!! — загремело наверху. — Вы дома!!! Идите ко мне!!!

И громадная ладонь гиганта легла на пашню. Она была толщиной с трёхэтажный дом и шириной с городской квартал. Сам гигант отстранился, лицо его ушло ввысь, открывая солнце, которое осветило длань великана и лежащих на пашне людей. Он замолчал и не двигался.

Оле, Аля, Плабюх и Хррато постепенно пришли в себя и подняли головы. Лицо гиганта величественно синело в вышине. Его длань покоилась на пашне ладонью вниз. Под ярким солнцем были видны складки кожи, наползающие друг на друга и разверзающиеся глубокими оврагами; толстенные ногти пальцев походили на льдины.

— Идите ко мне!!! — произнёс гигант с осторожностью. — Идите, наследники!! Вы одна семья!! Вас ждёт ваш совершенный дом!!

Переглянувшись, четверо робко двинулись вперёд. Старик же с прощальным стоном испустил дух и остался лежать на пашне. В своём засаленном ватнике с оторванным рукавом, с ватными культями, обшитыми изодранной кожей, с ветхозаветной белой бородой, он лежал в земляной борозде, как в гробу. Не оглядываясь, четверо пошли от старика в сторону длани великана.

По мере приближения все они стали двигаться уверенней. Первым подошёл к руке Хррато. Безымянный палец руки лежал перед ним.

— Не бойтесь, дорогие мои!! — снова повторил гигант. — Залезайте!! Вы уже дома!!

Хррато осторожно положил свою руку на складку кожи безымянного пальца гиганта. Огромные папиллярные узоры на подушечке пальца великана, плавно изгибаясь, шли одна за другой, словно ступени. Наверху желтоватым толстым навесом торчал исполинский ноготь.

Хррато оглянулся на сестру. Плабюх подошла и тоже положила руку на кожу великана. Аля и Оле стояли поодаль.

— Поднимайтесь!!! — раздалось в небе.

Хррато и Плабюх переглянулись. Хррато схватился за шершавые "ступени", подтянулся и проворно вскарабкался по ним на палец, перелез

через толстенный, в полтела Хррато ноготь и встал. Оказавшись наверху, он огляделся, обернулся и сделал знак сестре. Та легко полезла по коже великана и вскоре встала рядом с братом. Их стоящие наверху пятнистые фигуры с белыми, облитыми солнечным светом головами подстегнули Алю.

— Иди! — сказала она брату.

Тот недоверчиво похромал к пальцу. Аля пошла рядом, поддерживая его.

— Ад ноупле… — пробормотал Оле, кладя руки на бугристые складки кожи.

— Лезь! — приказала Аля.

Оле вцепился в невероятную кожу, по грубости напоминающую кору старой сосны, но по цвету — вполне человеческую кожу. И пахло от неё человеком. Пахло сильно. И этот запах успокаивал.

Аля подтолкнула брата сзади. Он стал не очень ловко карабкаться наверх. Она полезла вслед за ним. Они благополучно долезли до ногтя, но преодолеть этот толстый, более гладкий выступ не смогли. Застряв под ногтем на папиллярных "ступенях", Аля и Оле бессильно застыли, вцепившись в бугристую, шершавую кожу. — Лезь, я подтолкнуть! — воскликнула Аля.

— Не могу, хрипонь торфэ… — бормотал Оле. —

Большое...

Недосягаемый великан замер, как гора, и не двигался.

— Лезь! Лезь! — всхлипнула Аля, которую трясло от возбуждения.

Брат попытался и чуть не сорвался вниз, вскрикнув. В испуге он намертво вцепился в бугристую кожу. На его вскрик Хррато и Плабюх обернулись.

Аля увидела вверху их лица из-за розовато-жёлтой плиты ногтя. Своими сапфировыми глазами они смотрели на застрявших. Взгляды их встретились.

— Помочь! — выкрикнула Аля. — Помочь!

Белые близнецы не двигались.

— Помогать! Помочь! Нам помоче!

Плабюх двинулась с места, подошла к краю ногтя. Её голова, покрытая мелкой белой шерстью, светилась на солнце, леопардовая шкура, обтягивающее стройное тело, цвела грозным узором.

— Помочь! Помоче!!

Плабюх присела на корточки на краю ногтевой плиты, словно желая попристальней рассмотреть пару, застрявшую под ногтем гиганта. И протянула вниз руку. Оле протянул свою. Одним сильным рывком Плабюх втащила его на ноготь.

Он сел, опомнившись, свесился вниз, протянул руку сестре. Но Хррато опередил и таким же мощным рывком вытянул Алю наверх.

Наверху было гладко, как на льдине. Чудовищный ноготь блестел на солнце, отливая в середине розовым, а по краям — жёлтым. Впереди, бугрясь венами и холмясь суставами, лежала длань великана.

В это мгновенье из кармана белых брюк Киршгартена на ковёр выпала китайская граната hongloumeng[38] и взорвалась с мягким хлопком, заполнив кабинет усыпляющим газом. Сидящие, погружённые в процесс поглощения *творога,* запоздало зашевелились, но даже не успели встать со своих мест: газ действовал мгновенно.

Головы их бессильно опустились или откинулись на спинки стульев. Вера и Лурье сползли со стульев на ковёр, остальные остались сидеть в нелепых позах. Продолжавший *пластовать* Телепнёв был поражён газом в момент творчества. Голова его свесилась на грудь, руки остались на блюде.

Киршгартен, зажав нос, ещё до хлопка гранаты выхватил из другого кармана кислородную маску

---

[38] Примечания: 38
Сон в красном тереме *(кит.).*

и быстро приложил её к носу и рту.

Затем он снял тёмно-синие очки, встал, повесил их на спинку стула и полностью надел маску. Подошёл к Телепнёву и отодвинул его стул на колёсиках от стола, глухо пробормотав под маской: — Посторонись, Петя. Проснёшься — простишь.

Он достал из кармана серебристый холодильный пакет, положил на стол. Погрузив свои пальцы в *умное* молоко, активировал milksaw, вырезал из массива *творога* кусочек с телом скончавшегося инвалида, убрал его в холодильный пакет и сунул пакет в карман брюк. Вышел из кабинета, снял кислородную маску, убрал в карман, спустился по лестнице вниз, вышел через прихожую и крыльцо на газон, подошёл к веранде, возле которой оставил свой аэропиль. Открыв багажник, достал оттуда комбинезон и положил в пустое пространство багажника холодильный пакет. Надев комбинезон, взвалил аэропиль на спину, застегнул ремни, надел шлем, запустил двигатель и взлетел.

Солнце, уже скатившееся на запад, освещало усадьбу мягкими, тёплыми вечерними лучами.

Ролан поднялся на сто шестнадцать метров и полетел на запад. Глеб на стрельбище увидел

аэропиль и махнул Киршгартену. Тот ответно помахал ему рукой. На лугу виднелся *мягкий* куб, выглядевший с высоты громадным куском желе. Когда кончился приусадебный лес и появились крыши деревни, Ролан поднялся ещё на двести метров и прибавил скорости. Его шлем и комбинезон рассекли вечерний воздух, солнце светило в лицо. Вскоре впереди показалась Обь. Он спустился до ста девяти метров и полетел над рекой. Река и прибережные посёлки, деревни, усадьбы — всё дышало мирной жизнью. Всё разрушенное войной отстроили, мост восстановили. По Оби двигались баржи и катера. Киршгартен снизился и полетел над поверхностью реки. Солнце заливало её косыми лучами, на западе было безоблачно, зато на востоке высились громады облаков, красиво и разнообразно освещённые солнцем. Аэропиль пролетел мимо баржи, гружённой кирпичом, цементом и лесом. На корме уже не было неизменных для военного времени пушек и ракетниц, обложенных мешками с песком. Ролан летел быстро, речное зеркало стремительно проносилось под ним. Вскоре стрелка навигатора на стекле шлема указала вправо. Он свернул, поднялся на пятьдесят два метра и полетел на север над лесистым берегом. Постепенно лес сме-

нился проплешинами, заросшими подлеском и кустарниками. Это тянулось ещё двенадцать километров, а потом начались Барабинские болота: в проплешинах блеснула тёмная вода, появился камыш и редкие сухие деревья. Вскоре болото поглотило весь ландшафт и раскинулось во все стороны. Оно было огромным, неоднородным — куски суши мелькали зелёными пятнами, тёмная вода пятнистым узором лежала вокруг, обломки и пни сгнивших деревьев торчали то тут, то там. Навигатор скорректировал маршрут, и Ролан полетел на северо-восток. Пейзаж не изменился — бескрайнее болото лежало внизу. Навигатор указал взять чуть правее, Ролан повиновался. Он пролетел ещё семь километров, и впереди показалось что-то вроде разрушенного муравейника. Ролан слегка спустился и сбросил скорость. Вскоре он завис над этим “муравейником”. Внизу громоздились обугленные обломки старых деревьев и пней, камни и земляные насыпи. Всё это было не так давно жилищем человекообразных, поросших чёрной шерстью и именуемых чернышами. То, что осталось от их стана, лежало внизу. В мешанине обугленного, топорщащегося, замшелого дерева проступали два идеально ровных круглых озера с тёмной болотной водой. Это

были воронки от двух ядерных бомб, сброшенных четыре с небольшим года назад на городище чернышей зимней ночью во время главного их праздника — ритуального сожжения *мохавты*, огромного каменного топора, сложенного чернышами из десятков тысяч деревянных копий айфонов. Сожжение сопровождалось коллективным соитием жителей страны на болоте.

Ролан завис над безжизненным ландшафтом.

— Радиационный фон 0,48, — предупредил голос в шлеме.

— Wir schaffen das[39], — пробормотал Ролан.

Повисев немного, Ролан полетел дальше, повинуясь зелёной стрелке навигатора. Мешанина обломков закончилась, началось просто болото с островками камышей и кочек. Две стаи уток, заметив аэропиль, взлетели и закружились над болотом. Впереди показалась палево-серовато-синяя полоса. Ролан прибавил скорости, приблизился. Перед ним вырос береговой склон. За склоном начинался берёзовый лес, покалеченный взрывной волной от ядерного удара: большинство деревьев стояли без макушек. Но всё же листва была на поломанных берёзах, и

---

[39] Примечания: 39
Мы осилим *(нем.)*.

они образовывали лес. Навигатор указал точку прибытия.

— Радиационный фон 0,29.

— Прекрасно.

Ролан спланировал вниз и опустился на землю возле одинокого обломка сосны на самом краю обрыва. Ствол дерева, уже высохшего, лежал рядом.

Киршенгартен отстегнул аэропиль и свалил со спины на поросшую редкой травой землю. Снял с головы шлем, положил на ствол сосны.

И оглянулся.

Разрушенное городище чернышей узкой полоской темнело вдали. Ролан вдохнул влажный, пахнущий болотом воздух, подошёл к обломку сосны и пошлёпал по её коре рукой в серебристой перчатке:

— Ну вот, как сказал бы автор…

Отойдя от сосны и оглядевшись, Ролан выбрал ровное место, вынул из багажника аэропиля кусок живородящего пластика в виде блюдца, баллончик с *живой водой* и холодильный пакетик с куском *творога.* Положив пластик на землю, он попрыскал на него из баллончика и отошёл. Пластик ожил и стал расти. Блюдце увеличилось и через двадцать одну минуту стало огромной

десятиметровой тарелкой.

Активировав на левом запястье *умницу,* Ролан сделал подтверждение заказа, переслал координаты.

Сорок три минуты до исполнения заказа он сидел, привалившись к обломку сосны, и читал голограмму отчёта только что завершившейся в Тюбингене конференции германистов.

За это время солнце опустилось и освещало плато, белую огромную тарелку и болото косыми закатными лучами. В прозрачном и тёплом вечернем воздухе раздался звук приближающегося вертолёта, и вскоре бело-розовый робот-доставщик завис над плато. Вертолёт нёс белую цистерну с синей надписью MOLOKO-8.

При помощи *умницы* Киршгартен сориентировал его. Треща лопастями, робот завис над тарелкой, плавно опустился. В цистерне открылся вентиль, и *умное* молоко вылилось в тарелку, заполнив её до краев.

Умница произвела оплату доставки, и вертолёт улетел. Подойдя к краю тарелки, Ролан присел на корточки, снял перчатки и опустил руки в *молоко,* активировав его. На поверхности *молока* стали образовываться островки *масла.* Быстро слепив пальцами из *масла* формообразующий

тор размером с бублик, Ролан вынул из кармана холодильный пакетик с кусочком *творога,* открыл и бросил кусочек в центр *масляного* тора. Затем толкнул тор к центру тарелки. Тор с кусочком *творога* поплыл по *молоку.* Достигнув центра, тор завибрировал.

— Requiescat in pace[40], — произнёс Киршгартен.

Кусочек *творога* растворился в *молоке.*

Moloko-8 пришло в движение. В нём начался процесс *створаживания.* На белой поверхности стали возникать жёлтые кристаллы *масла* и островки *сметаны.* Слепляясь, они стали образовывать творожную массу. Масса начала медленно подниматься вверх, складываясь в форму, заданную кусочком *творога* и вибрациями тора. *Творог* уплотнялся и рос, воздымаясь над тарелкой. Молоко в ней стало иссякать, превращаясь в творог. И вскоре громадная тарелка опустела. В центре её росла новая творожная масса, структурируясь в заданную форму. Лучи заходящего солнца играли на складках и выступах растущей вверх массы.

Ролан отошёл от края тарелки, чтобы лучше видеть результат *створаживания.*

---

[40] Примечания: 40
Покойся с миром *(лат.).*

В тарелке росла гигантская скульптура человека, вытягиваясь вверх, обрастая антропоморфными подробностями. Достигнув десятиметровой высоты, рост массы прекратился, она стала расширяться, становясь скульптурой, выполненной в стиле позднего классицизма конца XIX века. Десятиметровый человек в докторском халате стоял, скрестив на груди могучие руки. Волевое лицо человека обрамляла густая борода, голова его была лысой, а на большом носу виднелось белое, тончайше вылепленное из *творога* пенсне. Вместо ног из-под халата виднелись два протеза, обутые в ботинки. Скульптуру поддерживал квадратный постамент.

Ролан осмотрел скульптуру и произнёс:

— Принято.

— Материал? — спросила Ролана *умница.*

— Каррарский мрамор, — ответил он.

Раздался ни на что не похожий звук, и *творог* стал перестраиваться в структуру мрамора. Тарелка треснула и развалилась на куски.

На постаменте прорезалась надпись:

ДОКТОР ПЛАТОН ИЛЬИЧ ГАРИН

Солнце засверкало на мраморе. Исполинская фигура стояла, глядя на запад.

Разглядывая своё творение, Ролан скрестил руки на груди и с удовлетворённой улыбкой покачался на ногах. Затем подошёл к монументу, взял два обломка тарелки, отнёс к обрыву и сбросил вниз. Он поднимал белые куски живородящего пластика, относил к обрыву и сбрасывал, пока вокруг монумента не осталась только каменистая земля с редкой травой.

Киршгартен надел свой шлем, закинул на спину аэропиль, пристегнул его, активировал и взлетел. Поднявшись на уровень лица монумента, он некоторое время вглядывался в это волевое лицо с полными, слегка улыбающимися губами, большим носом, высоким лбом и полу-заплывшими веками умных глаз. Отлетев в сторону болота, он снова завис. Мраморный монумент величественно возвышался над песчаным обрывом. Лучи заходящего солнца играли на мраморных складках халата, блестели на плечах и голой голове.

Облетев монумент, Ролан завис напротив массивного мраморного лица и положил руку в серебристой перчатке на высокий лоб с бороздами мраморных морщин. Мраморное лицо по высоте было такое же, как висящий в воздухе серебристый Ролан. Он собирался что-то сказать

этому лицу, но, передумав, отлетел в сторону, вытянул руки вдоль своего серебристого тела и поклонился монументу.

Затем резко взвился вверх и взял курс на юго-восток.

Мраморный исполин остался стоять на плато, неподалеку от обрыва и обломка сосны.

Солнце зашло.

Небо потемнело и заблестело звёздами. На болоте показался туман, ожили тысячи лягушачьих голосов и застонали выпи. В покалеченном берёзовом лесу стояла тишина. Облака, застилающие луну, сдвинулись, и лунный свет упал на лицо монумента. В лунном свете это лицо приобрело новое выражение: словно мраморный исполин готов разжать свои волевые губы, чтобы сообщить раскинувшемуся вокруг миру что-то очень важное, но пока не хочет этого делать.